

## По долгу памяти

Держу в руках только что вынутую из конверта справку нынешней службы госбезопасности России о моей реабилитации. Все, что копилось горького в памяти за мои почти 60 лет, вдруг всплыло каким-то миражом нереальности. Неужто все это было? Не где-то с кем-то, а в моей молодости? Вглядываюсь в приложенный к справке фотоснимок из моего дела, сохраненного в чреве НКВД - МГБ, мне там всего 16, и ком в горле: да неужто этот зеленый мальчишка, что глядит по-детски наивно с фотографии, мог внушать страх могущественному государству? Да, наверное, должен был внушать - столько перед ним жестокой вины уже тогда было у диктаторов-вождей, перед коими склоняли мы свои головы невинные. И справка эта - не мне прощение, а слабая попытка вымолить таковое у меня именем России.

Что касается меня, то я простил Родину, но не сталинщину, еще в 56-м, после памятного собрания, на котором представитель райкома зачитал письмо ЦК партии о культе личности Сталина. Помню, прибежал домой (жили мы тогда в Среднем Васюгане вдвоем с матерью) и с порога буквально прокричал маме:

— Все, кончилось наше незаконное унижение! Новым сталинцам не будет места на земле. Вот теперь я и в партию вступлю с легким сердцем.

Но мать не разделила моего ликования.

— Ты, конечно, сын, решай сам за себя. Только не от любви к правде Хрущев так решил. Всей правды он тоже никогда не скажет. Слишком долго в друзьях у Сталина был, его воспитанник. А яблоко от яблони далеко не падает. Ведь даже вы им больше верили, чем матери своей,

— Да, ты права, мама. Но нельзя жить с двумя верами в душе, быть двуликим Янусом.

— Это власть дьявола старалась всех двуликими делать. За то перед Богом не будет большевикам прощения. Много моего горя на их преступном счету.

И в который раз я услышал тогда ее рассказ об этом «счете».

... С петровских времен началось пришествие в Россию инженерных умов и мастеровых людей из Европы. Особенно чтимы были немцы, голландцы. На верфях, на демидовских заводах Урала, Оренбуржья не в диковинку стала иностранная «говорь». Одни после договорных сроков уезжали назад, не прижившись в «дикой стране», другие, коих было большинство, обретали здесь вторую Родину. Поселялись наособицу, своими колониями, оберегая свою культуру и религию, к своему языку добавляя знание русского. В одной из таких колоний Приуралья почти два века жили и благополучно множились семьи моих предков. С иноверцами баптисты-лютеране не допускали кровосмешения, зачастую обретая жен или мужей за границей. Благо, что проблем насчет вояжей «за бугор» цари не догадались придумать. Свято берегли то, что мы сегодня безуспешно пока собираемся возродить - связь поколений. Мать моя бережно, до самой смерти хранила «семейные тетрадки», как она называла тисненные золотом альбомы в форме тетрадей,

выдававшиеся специально детям в школе (в дореволюционной школе, тетрадки от родителей отца моего наследованные). Там были записи всех семейных событий: кто родился, у кого, когда, о женитьбе и родстве. Обрывались записи на 31-м году этого века, когда рухнула и связь поколений, и многие из людей тех поколений тихо, безвестно легли в землю,

Первой бедой, если не считать забытых времен «пугачевщины», стала, тоже по счету первая, русская революция. Пролетарии пользовались не только булыжниками, на бывших демидовских заводах зазвучали выстрелы. Заодно в число «эксплуататоров» попали инженеры. Ночью выстрелом в окно был убит отец матери. Баптисты, известно и сегодня, не приемлют насильственной смерти. И от греха подальше мои предки подались в Сибирь, на Алтай, где уже по столыпинской реформе зародилась колония переселенцев из числа немцев, голландцев. Это был 1908-й. Не столь уж легким было и тогда переселение, пусть и добровольное. Мать, будучи шестилетней девчушкой, осталась круглой сиротой, как и многочисленные ее братишки и сестренки. Разобрали их по разным семьям доброхоты-односельчане на новом месте.

— Я оказалась настоящей батрачкой в чужой семье. Все тумачи и шишки доставались мне. С утра до ночи металась по хозяйству, скота много было во дворе. Учиться мне позволили всего один год, когда мне было уже двенадцать. Самоучкой я научилась до этого читать, писать. Но за год сумела я окончить три класса на отлично. Больше хозяйка злая не позволила, опять в работу запрягла, — рассказывала о своем детстве мама.

В школе пришла первая детская любовь, ставшая ее судьбой на всю жизнь. У его родителей семья была огромная - больше 20 детей, дед его был долгожителем - в 120 лет от роду еще ходил в хлев доглядывать, как ведется хозяйство. Вопреки воле мачехи, моя мама - «Золушка» вышла за отца. Бернгардта, на русский манер впоследствии окрещенного Борисом (Кстати, и братья мои, рожденные до ссылки, на новом месте получили вторые имена. Названный по деду и отцу старший брат тоже стал Борисом. Ирхарт превратился в Егора, Тайно - в Андрея. Однако, мать называла их своими именами, отчего больше всех пострадал Ирхарт, к нему в школе сразу приклеилось девчоночье имя Ирка, и не раз доводилось ему доказывать в мальчишечьих потасовках свое «мужское начало». Но о братьях еще будет рассказ впереди).

Село Петровка, как и соседние поселения немцев в Знаменской волости Алтая, крепло год от года. Не знали баронов, помещиков, капиталистов, кулаков. Если и делили людей, то на злых и добрых, жадных и щедрых. Вот лентяев вообще презирали, как и неумех. Детей воспитывали строго, рано приобщая к труду на земле и ремеслам, поощрялось желание получить хорошее образование в столицах, на что денег не жалели. Ценили инженеров, врачей, агрономов. Раз в неделю собирались на проповеди «братьев и сестер», в каждом доме читали Библию. Вскоре, заглядывая к поселенцам-инородцам, русские соседи к удивлению своему обнаружили, насколько выше здесь не только урожай, но и нравственный уклад жизни. Мол, как это могут в Пасху за огромным застольем целый день гулять, с песнями, танцами, а выпить всего одну бутылку сладкого заморского вина? И ни одного пьяного в деревне!

Из столиц России далеким эхом донеслась весть об Октябрьском перевороте. Потом где-то бушевало пламя гражданской войны, лилась кровь сограждан, И никак не могли понять баптисты-колонисты смысл подобного братоубийства. Потом и на Алтай плеснуло той кровавой войной: приходили то белые партизаны, то красные. Весь мир русских почему-то вдруг поделился на «белое-красное». Но ни те, ни другие не смогли сагитировать немцев взять в руки оружие. Откупались обычно хлебом, которого в Петровке было гораздо больше запасено в амбарах, чем в русских деревнях. И с отрядами подразверстки предпочитали разойтись мирно, нагрузив телеги зерном. Себе при этом оставляли столько, что не возникало голода, приведшего в других районах России к миллионам смертей невинного населения.

Их женитьба совпала с тем временем, когда в обиход вошло новое слово - НЭП, обещающее крепкую уверенность в будущем благополучии крестьянской семьи. Хотя приданое невесты уместилось в одной плетеной корзине и жениху не выпал в столь большой семье богатый надел, работали с таким рвением, что вскоре и свой дом стоял по соседству с родней, и тучный хлеб уродился и во дворе завелось три рабочих лошадки, четыре коровы, боровок да несколько свинок, овцы, птица всякая. Но гордостью хозяина был выращенный из жеребенка выездной рысак. «Умный конь, как человек, все понимал. Однажды Ирхарт, пока я корову доила, уполз прямо под ноги жеребцу, обхватил ногу, пытается подняться. Я увидела - обмерла, боюсь крикнуть, ведь вдруг взбрыкнет. А конь стоит, не шелохнется, пока я не взяла сына" - вспоминала мать позже.

В свободное от полевых работ время мужчины объединялись в кооператив, в основном родственным составом. Ездили за 200 верст на озеро добывать соль и обозом своим вывозили ее для продажи в семейные лавки. Это приносило дополнительный достаток. В лавке торговали и прочими товарами, привозными продуктами, от сукна до спичек и селедки. По первой зимней дороге отправлялись обозы на городские ярмарки в Бийск, Барнаул и даже в Новониколаевск (ныне Новосибирск)- Праздником в доме было возвращение с торгов, особенно для детей, которым перепадали щедрые подарки. Месяцами отсутствовали дома кооператоры на строительстве по контрактам водяных, ветряных мельниц, маслобоен. Спрос был большой, крестьянское хозяйство поднималось в рост. Особенно доходным делом считалось производство сыров и масла, качество этих продуктов было столь высоко, что его охотно скупали заграничные фирмы. Взамен покупали крестьяне технику — импортные молотилки, сортировочные машины, прочий ценный инвентарь для уборки и переработки плодов хозяйства.

А в Семье шло счастливое прибавление: за первым сыном родился второй, там — третий, четвертый. Сыновья в крестьянской семье — это надежда и опора. Но отцу хотелось иметь хоть одну девочку. И они приютили прибрешую с толпой нищих сироту, семилетнюю Леночку. Отмыли, приодели, нарадоваться не могли - такая смышленная была девочка, на лету осваивала грамоту. Любили ее не меньше родных сыновей.

Ничто не предвещало беды, разве что слухи о комбедах, которые в русских деревнях уже начали разорять крепкие хозяйства. Где-то создавали пугающие коммуны, безуспешно пробовали какие-то ТОЗы строить. И вдруг во весь голос заговорили о колхозах, куда «будут загонять». Работящего крестьянина обозвали кулаком. Таких

кулаков не только разоряли, выметая подчистую хлеб из амбаров, отбирая нажитое добро, в первую очередь - сельхозинвентарь и лошадей, но у многих и дома реквизировали. Накатывалась непонятная гроза, бездельники пьяницы, почуяв за собой силу, пошли в поход, утолять жажду зависти и легкой добычи. Вот как об этом вспоминала наша мать:

— Однажды на бричках приехала к нам в Петровку орава пьяных, с ними милиционер с ружьем. Бесцеремонно во двор заходят, водки или самогона требуют. У нас такого не было в обычае, чтоб это зелье держать. Зовем их в избу, может, пообедают, а они замки срывают, хлеб в мешки насыпают, двое борова режут, коней выводят, коров забирают. Потом лавку взяли ломать, грабить. Милиционер бочку с селедкой разбил прикладом, рыбу в грязь вывалил и топчет ногами. «Зачем вы это делаете? — мы ему говорим. — Лучше бы отдали бедным, пусть съедят». «От вашей буржуйской селедки у пролетариев брюхо болит» — это он отвечает. Ох, какие ж дураки... Разгром кончили и пригрозили на прощание: «Подождите, не то еще будет. Всех вас, исплататоров, из деревни выкинем».

Про раскулачку мы тогда уже слышали, только не верили. А тут поверили, стали ждать беды. Двое моих братьев, они поженились только, детей еще не нажили, в ночь рысаков запрягли, собрали у родственников все, что дорогое было - украшения, золото - и на китайскую границу махнули. Сумели в Китай пробраться, откуда пароходом в Аргентину добрались. Дали им там вдоволь земли в аренду, отстроили ферму. Ну, это уж потом, со временем. А куда мы с детьми могли спастись?

Уж столько написано про эти трагические события, но от того не становится меньше боль памяти тех, кто их пережил. Дали два часа на сборы, взять можно столько, сколько влезет на телегу. Много ли положишь, если на ту телегу надо усадить семерых? И неизвестно, сколь долог будет путь, куда забросит злая воля под дулом конвойных ружей? В Бийске ждали, когда сформируют очередную партию. Сортировали здесь же, по плану; ремесленников-мастеровых — для создания промартелей набивали в одну баржу, хлеборобов - в другую, для рождения новых колхозов где-то в таежной глухомани. Пока «утрамбовывали» нутро баржи, на что ушла неделя, жили под открытым небом, питаюсь непривычно у костров, пили сырую воду.

Неспешно тянет маломощный буксиришко огромную деревянную баржу, в чреве которой полторы тысячи пока еще живых душ. Пристает к берегу только раз в сутки, таков режим следования, и никакие стоны умирающих, жаждущих глотка воды не доходят до слуха конвоиров. Вообще для них в трюме не люди, а вражеский контингент, боли которого — пролетариям на радость. Так наставляли молодых бойцов НКВД начальники перед выходом в рейс.

А в трюме, где и лечь негде было, люди справляли естественные надобности, задыхались в зловонии, умирали. Обычно под вечер баржа притыкалась к берегу в глухом месте. Невольники на виду конвоя и друг друга, усаживались тесно вдоль берега «по нужде», что поначалу вызывало мучения стыда, а потом - безразличие. Спешили похоронить умерших, их за сутки набиралось до 15 человек. Особенно массово умирали дети. И тогда мать услышала произнесенную шепотом кошунственную молитву соседки:

та просила господ Бога взять ее больное дитя к себе без лишних мучений. К концу пути эта женщина сошла с ума.

Год назад, будучи в поселке Новоселове Колпашевского района, я повстречался с живыми свидетелями того рейса и товарищами моих родителей по барже: Семеном Андреевичем Мысковым, Александром Федоровичем Буравихиным, Трифоном Лазаревичем Тарковым. Вот их воспоминания.

— ... Этой партии ссыльных еще повезло. Вблизи Колпашева затащилась баржа в протоку. Объявили выгрузку. А сколько таких барж ушло дальше, по Кети, Парабели, Васюгану, это еще недели пути.

Несколько разбросанных по прибрежному лесу изб встретили новоселов враждебно. Деревня называлась Чугункой, хотя далеко отсюда проходила железная дорога. За дорогу в одежде, в волосах ссыльных завелись несметные полчища вшей. И заразные болезни. Поэтому их и близко не подпускали местные жители к своему дому. Высадили прямо в лесу. Разделили прибывших на две части. Одним предстояло создать артель здесь, в новом поселке, получившем название Северный городок, другие пешком ходом отправлялись через деревню Жигалово за 15 км в тайгу, где тоже должны были воздвигнуть на голом месте артель. Там они построят новый поселок - Новоселово.

Стоял конец июня, лето коротко, чтобы выжить, надо было успеть под крышу к зиме убраться. Потому работали с утра до ночи, без погонял-комендантов. К октябрю стояло несколько больших бараков, раскорчевали поля под первые посеы и огороды будущего года. Многим, кто не подвергся болезням и был посильней, ночами удалось выкопать свои семейные землянки.

Одновременно, под более строгим надзором, велось строительство мастерских (столярки, циркулярной пилы для распиловки бревен, кузницы), смолокурного, дегтекурного, спиртопорошкового заводов. Хотя заводами назвать эти примитивные установки для перегонки древесного спирта было весьма трудно, производство ютилось под навесом из жердей и дерна, для укрытия людей от дождя и морозов служила маленькая избушка наподобие охотничьего жилья в тайге.

До сих пор старики удивляются: как смогли? откуда силы брались? Вручную вагой выворачивали пни, валили деревья, вручную и тес пилили, топорами дома рубили, лопатами дернину вздымали. Если б еще сытые были. А то тюря из горсти муки, что комендатура выдавала — и все, летом в приварок лебеда с крапивой шла, зимой к муке примешивали кору березовую. Силы таяли, чернели лицом мужики, кожа плотно обтягивала кости. И еще быстрее, чем новое поселение, росло за околицей кладбище. Хоронили зачастую без гроба, особенно детишек. А тут еще страшная напасть навалилась - брюшной тиф. В особом, тифозном, бараке не хватало места. Считалось: туда попасть - верная гибель. Кого успевали тайком увезти в Колпашевскую больницу, под надзор врачей - тому повезло.

Барак - почти та же баржа, чуть разве что просторней. Четыре стены, посредине железная печь. Круглые сутки по очереди на ней кипят чайники, варится болтушка-

затируха. Семья от семьи отгорожена ситцевой занавеской, если нашлось у кого ситца на это. Нары с соломенной подстилкой, в два этажа. Так, в одном бараке с моими родителями жили семьи Буравихиных, Новиковых, Немеровых, Зевьяловых, Фаст, Чувозеровых, Струковых, Мощенко, Манаенко, Глухота. Десять семей в одной «комнате» - вот коммуналка образца 30-х для невольников коллективизации в Сибири.

Голод превращал тифозную болезнь в повальный мор. Свалил он и мою мать. Она вспоминала:

— Я в тифозном бараке в беспамятстве металась, а отец на корчевке в тайге. Ребятишки опухли от голода, есть просят, а что отец дать им мог? Младшего сынишку Якова я родила в 31-м, незадолго перед высылкой. Дорогой он выжил, а тут у меня молоко кончилось, девятимесячным умер от голода. Леночка тоже стала на глазах таять, перед смертью все просила дать ей корочку хлеба. Не могла я ее проводить на кладбище. Отец ее схоронил, очень уж он убивался. Борис, Ирхарт и Хайно теньями по бараку ползали, уже и ходить не могли, но выжили. Наверно, и я только потому из рук смерти вырвалась, что дети звали меня живой остаться. А приходила смерть, я ее даже видела в бреду. Ты уж потом, в 33-м, родился, маленько мы оклемались в Новоселове. Тебя Яковым назло судьбе назвали, в честь братишки твоего умершего.

... Вторая группа, отобранная из прибывших на барже в Чугунку, пробиралась дикой тайгой во главе с комендантом-проводником в Жигалово, чалдонскую деревеньку, где организацией новых поселений занимался сельсовет во главе с малограмотным «туземцем», недавним таежным промысловиком. Долго ставил он прибывших на учет, после чего еще пять верст пробирались тропой вдоль берега Кети.

— Бор сосновый стеной, только небо видно над головой. Нам, жителям степного Алтая, страшно становилось, — вспоминает Трифон Тарков, будущий механик промартели. — Наконец, видим — колышками обозначена планировка. Из болота ручей бежит к реке, по одну сторону ручья — место нового колхоза, следом партия ссыльных должна была строить колхоз, а по другую сторону — наша «улица», в начале которой производственная территория. На километр примерно развели нас всех посемейно. Сверху Бог, кругом беспросветная тайга, внизу мы, как муравьи, копошимся. Соорудили за день шалаши от ветра и дождя, костры задымили, а на следующий день корчевать стали. Первым срубили комендантский дом, с одной стороны просторная квартира, с другой — комендатура. Столярку большую за лето подняли, сруб для станочного цеха сделали. Ночами под свои огороды корчевали участки, избышки лепили к зиме. По всей улице стояли козлы с помостками для ручной распиловки теса, досок. Люди умирали десятками в день, кладбище было рядом с ручьем, потом на его месте контору артели поставили, на костях людских.

И в Северном городке, и в Новоселове за зиму так поубавилось рабочих рук, что артели стали маломощными. Решили их объединить на базе Новоселовской артели. И назвали ее «Объединением». Так в 32-м мои родители «прописались» по новому адресу, ставшему местом рождения и детства для меня и младших — братишки Петьки и сестренки Лизы.

Попутно случился смешной эпизод. Председатель сельсовета, вписывая новоселов в свою книгу, спросил отца о национальности. В ответе — голландец — усмотрел подвох, — Ты мне мозги не пудри. Если не русский, то говори — француз, англичан или немец. — Ну пишите «немец», близкая нация. — Так бы и сказал сразу. А то выдумал новую нацию — матершинную. Меня не обманешь.

«Национальный вопрос» не волновал в то время. Это позже, в годы войны, он сказался, Правда, одному из братьев моих, уже взрослым удалось выхлопотать в паспорте «добавку» к национальной принадлежности, так и записали «немец (из голландцев)». Тут сразу надо сказать, что живя среди русских, участь за одной партой в школе, мы осваивали только русский язык, Дома мать старалась общаться с нами на родном своем языке, добивалась, чтобы мы отвечали ей тем же. Но с началом войны этому «вражескому» языку мы объявили бойкот. И тогда в домашнем быту у нас установился такой стиль общения: мать говорила на своем, мы ее понимали прекрасно, а отвечали на русском. При этом и мама знала русскую грамоту не хуже многих истинно русских односельчан. Единственный брат мой Хайно (Андрей) «заразился» вторым языком, с помощью матери освоил хорошо немецкий, впоследствии окончив успешно два факультета пединститута — физмат и иняз.

Но вернемся назад, в 32-й. К зиме отец успел срубить семейный очаг, согревавший нас ровно 22 года. Избушка в два маленьких полуслепых оконца. Бревенчатые, нештукатуренные стены, низкий потолок, поддерживаемый поперечной «маткой», о которую вечно мы стучались головой, что служило приметой нашего роста. В дверь можно было войти, только отвесив низкий поклон. Размером изба была четыре на три метра. У трех стен навсегда «при своем месте» три кровати. Их сделал сам отец, мастер-краснодеревщик, имели они особую конструкцию — раздвижную. Один трехстенный ящик входил в другой, сверху — крышка на шарнирах. Днем это диван, а на ночь поднимешь крышку, раздвинешь кровать, растрясешь помягче солому, покроешь ее холстиной, холщовую же подушку с соломенным нутром под голову — и падай гамузом в постель. Спали по трое, накрывшись одним рваным одеялом. С матерью делил «ложе» самый младший (когда не стало отца). Днем посреди избы втискивался тесовый некрашенный столик и скамейка при нем. Был еще стул — предмет гордости матери и сына Бориса: это он смастерил «вечной прочности» стул, учась еще в четвертом классе школы. Пятую часть жилой площади занимала кирпичная печь-плита, на ней восседал ведерный чугунок, рядом такой же вместимости тяжеленная сковорода. Посуда водружалась на три досочки открытой полки на стене — точеные отцом из березы чашки, стаканы, глиняные миски, кувшин, деревянные ложки и самодельные вилки из проволоки. По праздникам на стол мать ставила единственную фарфоровую тарелку — свадебный подарок, привезенный «из дому», как она говорила. «Дом у нас был там, а тут каторга за грехи наши неведомые».

Сколько помню детские годы, самым вожделенным часом было время обеда и ужина. Закон был строгим: к еде приступали, лишь когда все садились к столу. На стол выставлялась огромная сковорода с картошкой, чаша с капустой квашеной. Мать

тщательно делила «карточную» пайку хлеба, каждому иной раз доставалось по кусочку черной ржанины с шоколадную конфету величиной. Всем поровну, даже работающим старшим братьям не перепадало лишней крохи. Съедали много за один прием, но не сдобренная овощная пища быстро из нас «вытряхивалась». И чувство вечного голода мы глушили «подножным кормом»: если был «орешный» год — в карманах таскали кедровые орехи, луща их по дороге в школу, на чердаке из бочки доставали сушеную рыбу, весной «паслись» за огородом, где росла кислица-щавель, на грядках поднимались огромные листья ревеня, его стебли шли за первый сорт, хоть и кривило от кислоты рот.

Особого порядка мать требовала от нас в хранении книг и прочих школьных принадлежностей. Допустить «марания» учебника считалось кощунством. Нас шестеро окончило Новоселовскую, тогда семилетнюю школу. И учебники не покупались вновь, а прошли «по наследству» через все руки, оставшись пригодными до конца. Еще в обстановке избы были, постоянными висевшие на стене балалайка, гитара, потом добавились мандолина, скрипка. У нас был свой, как сказали бы ныне, семейный ансамбль. Репертуар «переходил» от старших к младшим. И пятачок возле наших ворот на деревенской дороге был конкурентом клубу, собирая по вечерам толпу молодых и стариков. Мы играли, часто присоединялся со своей самодельной скрипкой сосед — дед по фамилии Дума (кажется, звали его Сидор Иванович). Народные песни сменялись забористыми частушками, поднимали пыль в польке, вальсе, переплясе шахтерские калоши, чирки, босые пятки, а иной раз и «богатые щеголи» блистали хромовым сапогом в гармошку. Подходили «пошвыривавшиеся» вдоль деревни гармонисты с вечными спутницами под обе ручки. До темноты отводили душу, за день измотанную тяжелой работой, пока мать не загоняла нас домой. Сама она любила петь, и тоже отдыхала душой, выходя к воротам полюбоваться весельем.

Столь же светлыми в памяти остались участвовавшие к концу войны праздники в избах соседей по улице. Возвращались отцы наших ровесников, вот веселый (давно ли парнем был?) залихватский бондарь Сашка Буравихин вернулся — по самое плечо пустой рукав за ремень засунут. Моего соклассника Кольки Немерова батя за семейным застольем — счастливый, живой, а под столом вместо ноги — деревянный обрубок, до протезов не пришло время. Брага на столах, шаньги, холодец, кисель брусничный. Пляшут счастливые жены, пляшут и те бабы, что уже отревели над похоронкой. Мы с Петькой за гармониста приглашены, под гитарные незатейливые аккорды брякает плясовую балалайка — всех гармонистов извела, вымела с улицы война. Нам подносят по стаканчику бражки, мы отнекиваемся, от матери попадет за такой грех наверняка. «Да что уж, не поймет разве радости нашей?» — уговаривают нас. И мы пьем сладко-горькую влагу, заедаем ржаным морковным пирогом — и снова «наяриваем». Взбучка следует уже дома. Но возвращается живым другой сосед, хозяйка кланяется матери: «Отпусти, Егоровна, мальцов, пусть уж порадуют песней да пляской, без музыки какая гулянка?» И мать под божеские клятвы «не подавать» разрешает. И все повторяется. Ладно, что такое было редко, хотя и мать в душе желала, по ночам в молитвах просила у Бога возвращения отца к детям своим.



У нее в те годы еще теплилась надежда — жив и наш отец, говорят, где-то на Колыме в лагерях на каторге работают забранные в одно время с Борисом. Вот отмучается десять лет — и постучится в двери. Господи, как дождаться этого часа?

Фотографий отца «в семейном возрасте» у нас не осталось. Был один «визитный» снимок, он молодой, галстук бабочкой, жилетка, при усах. Да еще фото, где в полном составе первые артельщики сняты у новой столярки, Трудно отыскать там отца в толпе, слишком лица мелки. И в нашем детстве фотографов не было. Однажды, в 40-м, заезжий мастер снимал желающих в столярном цехе, мы пришли всей семьей, но уже без отца.

Мастер снимал с магниевой вспышкой. Из этого события самое сильное впечатление осталось от того мгновенного озарения, что на миг выхватило из полутьмы все углы столярки, лица людей, их как бы остановленные движения. Снимок получился сереньким, но удивляло, что мы вышли с открытыми глазами, хотя все зажмурились от вспышки. Вот и детская память сохранила лишь отдельные вспышки живого облика отца.

... Он с мужиками-соседями только что закончил крышу прирубленных к нашему домику сеней. Крыша отличается свежестью дерева от соседней. Мужики покуривают на бревне, а отец хватает нас по очереди в охапку, подсаживает на новую крышу. Мы лезем на самый верх, на острие конька. Кажется, что высоко паришь над всем миром, чуть страшновато от этой высоты. Потом бежим по склону, к нижнему краю, на уровне которого улыбающееся лицо, такое родное. Он ловит нас в сильные руки под общий смех.

Вот отец приходит с озера, что прямо за огородом под горкой. Озеро «горит», рыба лезет из проруби. Он ставит на стол полное ведро еще живых ельцов, окуней. Рада мама, весел отец: будет пир сегодня! Что вкуснее жареной рыбы? Мы окружаем его, не успевшего скинуть фуфайку, заводим хоровод. Он первым запеваёт: «На рыбалке у реки тянут сети рыбаки...»

Не выветрились из памяти радости дней, проведенных рядом с отцом в столярке. Старшие братья, Борис, Егор и Андрей, утром идут в школу, нас оставить дома одних нельзя, Петьке два, мне — четыре года. И, наскоро проглотив завтрак, ждем, когда отец начнет надевать фартук, потом фуфайку. Мы уже готовы, Петьку отец везет на санках, я трушу следом.

Отец строгаёт на верстаке, доводит шлифтом до блеска огромную столешницу, долбит стамеской, потом склеивает царги, ножки нового стола. Мы кувыркаемся в душистой гряде стружек. Как здорово пахнут они смолой! Устроившись под верстаком, я пробую пилить обрезок бруска ножовкой; она проскальзывает, оцарапывает палец. Царапина набухает каплей крови, и я реву не от боли, а от страха. Отец бинтует мой палец лентой стружки, кольцо которой заклеивает из банки клеем. И с гордостью ношу я эту повязку, целебней которой ни один врач еще не придумал.

Собираются в курилке (а курят строго по распорядку и все враз), начинаются веселые минутки. Я декламирую «Муху-цокотуху», изображая, как пляшут гости героини. Мужики хохочут, кто-нибудь из них даёт «за представление» пятак. Тут дед Струков в который раз начинает рассказ о том, как меня мой брат Егорша променял ему на петуха. Не раз об

этом и мама рассказывала мне, уже взрослому. А дело было так. Рос я болезненным, крикливым. Одной из главных забот старших братьев было нянчить младших. Моим поводырем был Егорка. Однажды зашел он к Струковым, в соседях они жили, а там по двору красивый петух гуляет. Якшаться с животными пацана тянуло очень, а тут такой красавец — глаз не оторвать, стал ловить его. Дед Гаврила возьми да и пошути: «Хочешь петуха? Давай на Яшку обменяем, он, поди, надоел тебе». Егорка молча шмыгнул через ограду напрямик домой, а через минуту уже стоял на пороге Струковых с малышом на руках. «Вот принес». Ему отдали петуха.

Мать приходит с работы, на столе красуется петух, кормится из Егоркиных рук. «Ты только посмотри, мама, что я на плаксу нашего выменял. Он по ночам не кричит, только утром кукарекает». Вот над этим и потешались долго мужики в курилке.

Еще одна, последняя «вспышка»...

Ночью просыпаюсь оттого, что кто-то щекочет лицо. Над нашей кроватью склонился отец, целует меня, Петьку, Андрейку, мы вместе спим. Усы почему-то мокрые. Петька, словно почувяв неладное, начинает реветь. Отец успокаивает его. На другой кровати — Борис, Егор, сидят растерянные. В соломе их кровати шарится дядя в военной форме. На полу разбросаны учебники с полки, по ним топчется сапогами второй военный, с наганом в кобуре. Горит на столе керосиновая лампа. Мать вся в слезах, еще в ночной рубашке. Ругает ночных гостей: «Вы что делаете? Разве можно книги топтать? За что детей сиротите, отца у них отбираете?» К окну снаружи вплотную прислонилось чье-то лицо в буденовке. Вот отец одевает фуфайку, обнимает маму, утешает ее: «Ты не волнуйся, это недоразумение, я не виновен. Разберутся — и вернусь. Если долго буду там, ты детей сбереги, пока возвращусь. Зря не переживай, тебе еще дочку родить надо». Мать беременна была, отец все о дочке мечтал, даже на пороге к смерти в застенках НКВД. Его увели, проскрипели за окном полозья саней — и больше у нас не было отца.

Утром, после бессонной ночи, убрав следы «бандитов», как назвала дядей в форме мама, она побежала что-нибудь разузнать. Оказалось, что в эту ночь взяли еще троих новоселовцев - бухгалтера Шмойлова, учителей Заугольниково и молодого Владимира Никольского. Отца Никольского, замечательного учителя, взяли и бесследно увели ночью немногим раньше, в конце 37-го.

Потом несчастные жены арестованных, и мать с ними вместе, ходили в Колпашево, обивали пороги в доме НКВД. Но ничего вразумительного им не говорили. Вдруг проносился слух, что ночами расстреливают «врагов народа» в лесу между Тогуром и Колпашево. Тайком женщины ходили «дежурить», петляли наугад в лесу до утра, однажды нарвались на вооруженный наряд сотрудников, в страхе убежали. Шло время, а от отца ни весточки, ни слуха — где он, что с ним?

Помню: однажды взял почитать учебник истории за 6-7 классы, а там портреты до дыр исчерканы, глаза выдраны. (Мы рано начинали читать, писать, набираясь грамоты рядом со старшими. Их учебники, особенно историю и хрестоматию по литературе, мы прочитывали от корки до корки. Было интересно. Приносили братья и книжки из небогатой школьной библиотеки. И к первому классу я всю эту библиотеку перечитал).

Наябедничал я тогда на Егорку — шестиклассника, матери показал «испорченный» учебник истории. Но она уже была «в курсе»: это учитель велел таким образом расправиться с врагами народа — Блюхером, Якиром, Бухариным и прочими недавними вождями революции. Учеников учили «править историю» доступным для них способом.

Как-то принесли братья из школы новую книжку — большую, корки блестят — о Павлике Морозове. Читали вслух вечером, при лампе. Такой у нас обычай был. Мать после ужина садится чинить, шить, вязать, чтобы хоть как-нибудь прикрыть наготу «оравы». Мы по очереди читаем. О Павлике было все так правдиво написано, что даже голос срывался, слезы мешали читать. Одна мама не поверила. «Неправда все это, такого быть не должно, чтоб сын отца продавал и дед внука зарезал». Но мы потом, втайне от матери, горячо обсуждали, смогли бы или нет выдать отца, если бы узнали о его «вражеских делах». Ведь был он с «ними» заодно, так просто, ни за что, людей не арестовывают по ночам. Та книжка крепко поспособствовала тому, что об отце мы, сыновья, перестали думать, говорить, будто его и не было. К рассказам мамы относились так: она его жена, без него ей тяжело нас растить, потому и плачет о нем. И сколько раз потом с горечью думалось мне в минуту несправедливости ко мне: «Ну, почему судьбу дала нам в отцы врага народа?» Да простит нам прах отца и матери эти детские заблуждения. Не наша в том вина, а тех, кто кощунственно привил ее с младых ногтей.

А жить становилось все труднее, хотя мы, младшие, не очень-то фиксировали на этом свое внимание. Родилась у нас сестренка. Две недели у матери декретный отпуск, а там нянчиться — наша с Петькой заботушка. От Пеструхи нам теперь перепадает всего по полстаканчика парного молока, дает корова мало, вечно полуголодная в стайке, на одном сене перебивается, да и его не вволю запасти удастся. Мать берет в артели вторую работу — уборщицей в цехе. Днем — в красильном, куда зайдешь — глаза щиплет от настоя скипидара, красок, лака. Из-под ее рук выходят полированные шкафы, столы. Утром к пяти она теперь уходит из дому — надо печи протопить, метелки на каждый верстак приготовить, а в красильном так и вымыть пол, пыль протереть, там нужна чистота. Уходя, будит нас, чтоб до школы старшие успели в стайке прибраться, завтрак и обед сготовить. Хорошо, если драники в меню: с вечера натерта картошка, за чтением книги, пока один рот занят, остальные щелкают орехи, ядрышки складывают в чашку. Потом их на горячую сковороду положишь, сверху из тертой картошки оладьи накладываешь. Вкус шоколада мы не знали совсем, но такие драники почему-то звали «шоколадными» за вкус орешек, спрятанных в лепешке. На обед суп, куда вместо мяса добавляли морковь, капусту и, если была овсянка в запасе, то крупы горсточку. На ужин — картошка в разных вариантах. Иногда из сушеной рыбы пекли оладушки.

Старшие в школу уйдут, мы с Петькой Лизку воспитываем, играем в единственную куклу. Отец сам сделал ее: голова из дерева вырезана, и руки-ноги тоже, тряпичное туловище опилками набито, что обнаружилось после нашего «анатомирования» куклы. Мать зашила дыру, и долго служил нам этот «китаец», как мы звали это отцово изделие за восточный облик.

Поблизости, прямо у калитки соседей — Коминых поднялся в вышину колодезный журавль. Нам пока не разрешают самим доставать воду, но так и тянет заглянуть в темное

жерло, аукнуть в голосистую пустоту. К весне вода «уходит» из колодца, приходится с тяжеленными деревянными бадейками тащиться к проруби на озере, по ступенькам взбираясь обратно крутой тропой. Прямо над этим спуском, на конце огорода Потешкиных, стоит черная банька. По субботам мы ее топим, обычно по очереди с соседями. Каменка накаляется докрасна, в ее «пещере» парит горячим щелоком, настоенным на золе, чугуна. Время от времени, после закипания щелока, чугуна достают ухватом, сливая воду в бочку. Туда же бросают и раскаленные булыжники, что сложены были загодя в огонь. Нас, младших, моет мать. Поддаст пару, жаром обжигает уши, приседаем на пол. Но она тянет нас на полок, легонько охаживает веником. И вот он, миг восторга: голышом вылетаем на улицу, кувыркаемся в снегу, смелому можно прокатиться на брюхе по ледяному желобу с горы прямо в озеро, чтобы потом по снеговой тропе вернуться в банный жар. Во время «парения» развешанная под потолком наша одежонка избавляется от вечной спутницы нищеты - вши.

Самое противное — мыть некрашеный пол в избе. И веником-голиком его скребешь, и ножищем-скобелем снимаешь слой серой грязи. А через день-другой и не видать первозданной желтизны дерева, извлеченной с таким старанием на свет божий. За день такой оравой по разу пройдишь — и то наследидишь. Летом попросторней становится в избе, вся бытовая суета перемещается в сени. Втискивается туда одна кровать. Мать сложила здесь небольшую русскую печь с плитой. При нужде и зимой иногда топила ее, если появлялось малость муки испечь хлеб пополам с добавками лебеды, с лета засушенной, картошки тертой. И стол сюда перемещается. В одном углу кадушка с квашеной черемшой, в другой — помидоры с огурцами свой аромат издают. Пока тепло не заставит спрятать остатки запасов в погребушку.

... У Санниковых, они живут через дорогу, их мать созвала на обед соседских ребятишек. Повод — отец вернулся. Нет, не с войны. Дядю Филиппа забрали в НКВД раньше нашего папы, долго его ждали, как и в нашей семье. Вернулся — значит, не виноватый, разобрались, правда победила. Мы за столом «нажимаем» на пирог с киселем, дядя Филипп сидит молча на кровати. Часто, захлебываясь, кашляет.

Через неделю я «схватил» воспаление легких. Долго наш деревенский фельдшер Фома Сергеевич выслушивал меня со всех сторон в свою деревянную трубку, пил чай, потихоньку что-то говоря обо мне. На следующий день мать укутала меня в одеяло, уложила в сани, сверху еще и соломой укрыли. И Филипп Санников повез меня на лечение в Колпашевскую «туббольницу», куда ему и присоветовал Фома Сергеевич немедля обратиться.

Через долгие месяцы, с марта до осени 40-го, превратившись из «ходячего» в «лежачего», вернулся я на конной бричке домой, «списанный» за безнадежностью. Тут вмешался наш старый доктор Айболит — Фома Сергеевич, предложил испробовать «последнее народное средство» — настой меда, лука, алоэ на «церковном вине» — кагоре. Не знаю уж, как матери удалось достать вино и мед, но лекарство это пришлось мне по вкусу, иногда тайком давал попробовать его Петьке, И чахотка помалу отступила, оставив на всю жизнь шрам на легких.

А Филипп Санников умер. Как ни упрашивали его жены арестованных рассказать хоть что-то, ни словом он не обмолвился, так и унес тайну в гроб. «Наверно, страшную клятву с него взяли», — говорила и наша мама. Аресты продолжались и после 38-го, но единичными случаями. Последними, сколько помню, были Семенец Николай Маркович и его дочь Вера. Взяли их «за слово», говорили люди. Он работал продавцом и, вроде бы, вспоминал, что в первую мировую был в немецком плену и там давали им знатную обувь, не то что шахтерские калоши, в которые обули всю деревню в данный момент. А дочь, заядлую певунью-частушечницу, за «несоветскую» частушку. Мы, пацаны, тоже знали немного таких частушек и распевали их втихаря где-нибудь на рыбалке. Одна, например, отражала действительный, нам известный факт: в трудную годину прирезали списанного коня и разделили так, что одним достались потроха, другим — начальникам — мясные лытки. И тут же пошла гулять по Новоселову частушка:

Промартель «Объединенье»

Заколола мерина

Три недели кишки ели-

Поминали Ленина.

Донеси до слуха НКВД такое - и найдут сочинителя, заодно исполнитель с родителем вместе загремят. Вера Семенец отсидела в лагерях «от звонка до звонка» и вернулась живая. Сейчас (по крайней мере, год назад) она живет там же, в Новоселове, фамилия по мужу - Алексеенко.

И еще редкий случай, когда «похищенных» ночью сотрудниками НКВД возвращали домой умирать. Жил у нас ссыльный по фамилии Ленинг, с его сыном Витькой мы дружили. Последнюю букву, для легкости произношения, деревенские языки спустили. И говорили, что «у нас есть свой Ленин». Что не помешало «Ленину» стать врагом народа. Через несколько лет он еле живой, никому не показываясь на глаза, вернулся, молча сел на сундук, молча ел, укладывался спать. И вскоре молча был схоронен. За гробом на санях никто не шел, кроме Витьки с матерью. Мы никогда не разговаривали об отцах с друзьями, ни с Витькой Лениным, ни с Мишкой Санниковым. Ни с Леной и Геной Классен.

Дружба с этой семьей помогала матери пережить все свалившиеся на нее беды. Делили и праздники и помогали, чем могли, друг другу. Историю этой семьи я знаю лучше других по воспоминаниям и по сей день живущих в Новоселове Елены, Геннадия, их матери Елены Ивановны, умершей лет пять назад.

Жила счастливая семья Безе Ивана Давыдовича и Елены Ивановны (все имена я называю уже переделанными на русский лад) на Украине, в селе Лацком близ Мелитополя. Было крепкое крестьянское хозяйство, образованные, отличались культурой в быту и хозяйстве. Шестерых детей имели к тому сроку, когда в 30-м насильно забрали Ивана Давыдовича в лагеря, стройки социализма требовали «кадров». До этого начались притеснения непомерными налогами, хотя он добровольно вступил в товарищество СОЗ (совместной обработки земли, первый образец колхоза). Все отобрали, наконец, и отца у

семьи увели. Следом пришел пьяный комбедовец и отнял последнее полмешка пшеницы. «Шибко хороший самогон выйдет из кулацкой пшенички», — так откровенно и заявил.

Елена Ивановна собрала детишек в телегу — и в догон за мужем добровольно поехала в ссылку. Трех детишек похоронила в дороге, спутницей им была голодная смерть. Под Томском было это. По прибытии в Томск отобрали у матери трупы детей, не дали самой похоронить. Оставшихся погрузили на баржу — и в Колпашево. Тут всех свалил тиф. Выкинули на берег — и помирай, как можешь. Никто из местных и близко к дому не подпускал. Еле уговорили одну старушку пустить их в пустующий амбар на самом краю деревни Чугунки. Бог не оставил их, выжили. Удалось на время в домработницы наняться, в зажиточные семьи работников НКВД.

Малость оклемались - опять на баржу, и повезли на Верх-Кеть, это летом 33-го было. Три дочери подрастали в деревне Палочке, где их выгрузили, школа-семилетка была. Старшая Елена, пекарем устроилась, а младшие, Рита и Агата, продолжали учиться. Начинили в немецкой школе, здесь на русский язык перешли. Голодные, на траве да ботве, но и здесь они стали отличницами. Учителя тогда патриотами настоящими в своем деле были, своим примером «заразили» сестер, школу кончили - и оставили их обеих учителями в той же Палочке.

Тут Лена-старшая любовь нашла. В Колпашево врачом районной ветстанции работал Генрих Классен. А помощником у него - Иван Давыдович Безе был. Как раз тогда, в 35-м, пришли в комендатуру документы, в коих сообщалось, что «семья Безе незаконно сослана и ей разрешено вернуться на прежнее место жительства». Видать, плохо дела пошли в колхозе села Лацкого без высланных специалистов крестьянского дела. Но колпашевский комендант отговорил ехать назад, мол, и здесь вы пригодитесь. Тогда и смог устроиться Иван Давыдович на ветстанции, и семью к себе разрешили перевезти в Колпашево. Через него и познакомилась Елена с молодым ветврачом Генрихом. Родилась дочка, назвали Леной. Три Елены в одной семье стало - бабушка, мама и внучка. Жили все в одной квартире.

В феврале 38-го забрали ночью Ивана Давыдовича. Много раз обивала пороги НКВД Елена Ивановна, но ничего вразумительного ей не говорили. Наконец, в апреле 38-го прислали извещение, что Безе Иван Давыдович оправдан за невиновностью, Обвиняли его в том, что он заражал скот сибирской язвой, случай падежа от этой язвы был в Инкино. Однако ни мужа, ни сообщений о его дальнейшей судьбе жена не получила. Как выяснилось впоследствии, после реабилитации, Безе Иван Давыдович был расстрелян за месяц до того, как написалось сообщение о его невиновности. Бабушке Безе (ей тогда было 50 лет) эта «шутка» в стиле НКВД стоила седых волос.

Мало того, в июне того же года в квартиру оставшегося за главу семьи Генриха Классена снова постучали. И увели его в безвестность. Больше на запросы близких комендатура не отвечала. Расстрелян - узнали через десятилетия. Старшая дочь, Елена Ивановна, осталась вдовой, будучи беременной. Они переезжают в Новоселово, в деревню, где хоть клочок земли возле дома будет подспорьем. Рита с Агатой остаются в Колпашево учить немецкому языку ребятишек. Агата - в школе номер три, Маргарита - в

школе на селекционной станции, рядом с городом. Несмотря на «проблемный» предмет, особенно в годы войны, были они любимцами учеников. Да и нашими тоже.

Особенно дорогими в памяти остались новогодние вечера у елки. Всей семьей мы приходили к Классеным (так на русский манер мы склоняли их фамилии). Обычно елка уже была наряжена, и обязательно на ветках ее прятались настоящие свечи. Вскладчину пекли пирог — с ягодами ли, с морковью, пшеничный или ржаной, но вкусный он был, как никогда потом не доводилось пробовать. Маргарита с Агатой приходили на праздник домой, где-то раздобывая в городе немного сладостей: по конфете или прянику нам доставалось в подарок обязательно. Мы старались подготовить «номера» — стихи, песенку, вставляли на табуретку и под аплодисменты «давали концерт». Приходил дед Мороз, в котором мы сразу узнавали тетю Риту или Агату, но виду не подавали, что они рассекречены. Потом пели взрослые, а мы подпевали, если песня была русская. Девушки по очереди играли на гитаре, сами красивые, а голоса просто завораживали нас. Как таких учителей не полюбить? Все они умели: и красиво сшить платье, и смастерить новогодние игрушки (покупать негде было), и рисовать, и на покосе от мужиков не отставать с литовкой, вилами.

Потом нас оставляют играть, с Генкой и Ленкой лазим под столом, мастерим из кубиков дома, рисуем, обновляя подаренные краски или карандаш. А старшие «три Елены» — наша мама, Ленкина мама и бабушка — потихоньку беседуют, то засмеются вдруг, то плачут, склонив голову друг другу на плечо, у них свои заботы, горести, до которых мы еще умом не доросли. Разве что наш Андрюха, увидев слезы на маминых глазах, вдруг посерьезнеет, подойдет к ней и ткнется лицом в подол платья, «мамин любимчик» — так мы оценивали подобное проявление чувств. И не прерывалась игра.

Наутро начинались будни, для наших семей чаще сулившие, чем другим, новые напасти судьбы. Мама Ленки и Генки Классеных, отличавшаяся грамотностью, высоким трудолюбием, прошла в артели долгий путь от пилорамы, станочницы, до мастера цеха, бригадира, заведующей производством. Ее уважали стар и млад как в цехах, так и в сельском житейском быту. Беда в их дом пришла в 51-м. Возвращаясь с покоса, утонули сразу обе сестры — Агата и Маргарита.

Путь на покосы преграждало длинное озеро Кривун. Переезжали на лодке-неводнике. Лодка оказалась на другой стороне, и немного умевшая плавать Агата разделась, поплыла, чтобы перегнать лодку. Но на середине хоть и узкого, но глубокого озера ее, после трудного дня работы литовкой, схватили судороги, она стала тонуть. Маргарита, как была одетой, так и бросилась ей на помощь, не раздумывая о последствиях — плавать не умела. Шедшие с покоса следом Потешины услышали крик, поспешили. Но когда поспели к переезду, нашли на берегу одежду Агаты и корзинку с обедом, да литовки сестер. Догадаться было легко о несчастье. Помню, мы с соседними подростками (я уже был третьекурсником педучилищ) играли на улице в лапту, когда встревоженный отец Степки Потешина сказал нам о несчастном случае на Кривуне. Мы бросились помогать в поисках сестер. Вооружились баграми, кошками, крючками на веревках. Почти до утра скребли дно на шестиметровой глубине. И вот на крюке багра показалось обнаженное тело Агаты. Маргариту кошка зацепила сразу же, буквально рядом лежала она на дне. На похороны

собрались сотни людей, много учителей приехало из Колпашева. Впервые в Новоселове провожали умерших с духовым оркестром, под несмолкаемый рев гудка артельного паровика. Своей рукой вывел я на памятнике надпись; «Здесь покоится прах Агаты и Маргариты Безе».

Бабушка Лена, мать сестер, перед этим ударом судьбы не выстояла, сдало здоровье. И в одной оградке с дочерьми вырос памятник с ее именем, Потом вышла замуж ее внучка Лена. И ее скараулил злой рок: погиб муж, оставив Лену с тремя малыми детишками на руках. Приезжала Лена Ивановна на похороны нашей мамы в поселок Октябрьский. И умерла потом сама в том же возрасте, что и моя мать.

Только никакие бури не смогли вырвать бесследно фамильный корень Безе-Классенов. Приезжая, правда, очень нечасто, в Новоселово, первым делом захожу, останавливаюсь на ночлег, отсиживая по поводу встречи радостное застолье с друзьями детства - Геннадием и Еленой. Вспоминаем такие далекие дни. Сидит рядом Ленка - Елена Генриховна. Неужто уже пенсионерка? Боже, сколько лет прошло. Седая, повидавшая жизнь женщина передо мной. Неужели я ее когда-то «катал на лошадке» — на загорбке носил, прыгал, под ее хохот безмятежный. Теперь ее сыны — Валерий, Геннадий, Андрей — сами отцы, шестью внуками наградили бабулю. Такие пышнощекие карапузы забегают к бабушке, рады «вкусненькому» угощению. Всю взрослую жизнь Елена отдала чужим детям, воспитанию в них доброты, честности, правды, была отличным воспитателем детсада на радость родителям. На пенсии теперь, время промчалось неумолимо. Но вдруг улавливаю в складке улыбающегося рта, в искорке глаз неистребимо детское, и опять не Елена Генриховна, а та Ленка из детства передо мной. И Генка Классен все тот же, деловитый, рассудительный, верящий не чужим словам, а опыту своему, пацан. Если ему говорили, что курить вредно, он закуривал обязательно самосад, и убедившись — гадость — никогда больше в рот не брал папиросу. Трех сыновей тоже вырастили они с женой Лидой — Сергея, Колю, Толю — и дочку Риту. И тоже внуков помогают на ноги ставить. Прибыло в рабочем строю бывшей артели, а ныне лыжной фабрики в Новоселове, их фамильного роду.

— Если бы можно было словами хоть что-то повернуть назад в жизни, — говорит Елена Генриховна. — Но мертвых, убитых в застенках НКВД не вернешь, хоть сколько пиши, говори о делах несправедливых тех времен.

Да, историю не переиграешь, но повторять она умеет даже самые злостные варианты. Если только общество людское позволяет себе роскошь забывчивости. Еще не дописаны мною эти строки невыдуманные, а к «рулю» рвутся, то от трибун митингов, то от депутатских микрофонов, силы возрождения «большевистского порядка», портреты Сталина нам в очи суют, ностальгический ной по его «победам социализма» поднимают, Заглазно и в открытую. Неужто забудем, усыпимся их обещаниями «навести быстрый порядок?» Поздно будет, когда в жилах застынет ужас и скует способность мыслить свободно, без ошейника, тянущего «на труд и на подвиг», и стене с пистолетом у затылка и к счастью через трупы и насилие. Мне лично счастье из рук убийц моих сограждан претит.



Да простит мне читатель невольное мое лирическое (политическое) отступление. Никак не собирался я политику сюда «за уши тянуть», а хотелось невыдуманное, лично пережитое рассказать собственным внукам. Может, кому и стороннему интересно будет прочитать. Так я дальше продолжу свой рассказ.

... Война в нашу детскую жизнь ворвалась, как пожар. К нашим забавам в том июне прибавились «игры» на воде. Половодье случилось небывалое. Море настоящее подступало, лезло в гору за краем огорода. До горизонта водяная гладь, ни озера, ни Кети не разберешь. Подует ветер — волны громоздятся, Мы садимся в обласок, у нас он большой, семейный, и проверяем свою храбрость. У артельного берега затопило длинные скирды соломы, одни макушки из воды торчат. Артельным скотникам заботушка — кормов убавилось, а нам забава. Столкнешь доску, упрешь ее одним концом в макушку скирды, другой на кромке суши, и по шаткому, хлюпающему мостику на торчащую из воды длинную ленту соломы. Мокрая, она скользит под ногами, а мы носимся, рискуя искупаться в холодной воде. В этом риске и весь «шик» этой игры в догоняшки.

В тот день, как всегда, и Лизка с нами была, все остальные на работе. Обычно мы ее на берегу усаживали — пусть наблюдает со стороны, пока играем на скирдах. А тут оглянулись — и — бульк! — юзнула в воду. Одни ручонки скребутся по соломе. Выдернули мы ее из воды, сами от страха трясемся, а она молча моргает глазами. На берег вытащили, тут она как заревет. Поддали ей для порядка, измазанное платишко сняли, загорай! Постирали ее единственный наряд, на солнышко сушить повесили. Вот в этот момент и взревел гудок паровика. Так он всегда при пожаре начинал выть с переливами. Забыли мы с Петькой про страхи, мокрое, платье на Лизку натянули — и бегом на гору, пожар смотреть — редкое приключение.

Нигде не горело, а рабочие возле мастерской уже толпятся, со всех концов спешат сюда старики да старухи из дому. Комендант какой-то приехал, конь под седлом привязан к крыльцу склада артельного, председатель сельсовета Малахов тут же. Про войну речи начались. Мы к матери поближе жмемся, а она даже не замечает Лизкин видок. Одно мы с Петькой поняли, что Гитлеру непременно вскоре башку оторвут, вон и комендант громко кричит, что победа будет за нами. Только женщин не поймешь: чего плачут? Не видят, что у коменданта наган на поясе? Пойдет он впереди, бах-бах-бах из нагана, только повалятся немцы.

Вот недавно Егорша ревел, мать его порола. Хоть и большой он уже, но ведь больно и обидно, Вообще-то мамка нас не драла «под горячую руку», подзатыльников походя не отвешивала. После ареста отца на дверном косяке повесила ремень, вот, мол, ваш отныне воспитатель. Авторитет свой в семье поддерживала беспрекословный. Ослушаешься, бывало, вечером, когда домой придет едва живая от усталости, устроит разборку. Голоса не повысит. Сядет, потихоньку скажет: «Неси сюда». Понятно — что нести. Не унижала себя, чтоб самой за ремень хвататься, распалиться в гневе. Пару разочков оттянет вдоль спины, потом мораль: «Ты человек? Человек. Люди должны друг друга словами понимать. Если не понимаешь мать свою словом, то ты в скотину превращаешься. А скотину приходится и кнутом приучать. Это заруби на носу на всю жизнь. Я не со зла тебя ударила, а чтобы ума у тебя прибавилось маленько. Погляди на курицу, и ее цыплята понимают. Человек свою

мать обязан понимать без ремня». В таком духе слово, данное отцу, выполняли. Конечно, это уж потом до конца мы поняли, когда повзрослели да поумнели.

А Егоршу на сей раз всерьез выбрала, ишь, чего отмочил! Семь классов отличником учился, выпускные экзамены уже идут, а он учителя ударил, прямо на консультации. Хороших учителей в 38-м позабирали, на смену приняли, кто под рукой оказался. Вот и математик новый был из таких, сам заика, ничего толком понять ребята не могут на уроке, перед каждой фразой повторял: «Вобщим знаш». Такое прозвище и приклеили ему. На той консультации Ёгорша не стерпел, состричь решил.

— Ну, что вы все «в общим знаш да в общим знаш». А мы — ничего не понимаем.

Рассердился учитель, подошел да Егоршу за воротник рванул. Последняя рубашка на Егорше треснула, воротник в руках учителя остался. Вот и не стерпел братан, в подбородок заехал педагогу тому. За что был тут же из школы выдворен со справкой, а не свидетельством об окончании школы. Путь в науку дальше был ему закрыт. Самому-то ему в охотку работа была, да мать боялась: закабалят в колхоз на всю жизнь. Был он самый крепкий в семье и самый необузданный, как мать говаривала.

Направили его в числе других артельных парней в Дорстрой. Тогда дороги строили через тайгу вручную, гатили бревнами болото, землю возили на лошадях. Топор, лопата, двуручная пила да конь с телегой — вот весь «технопарк». Тут война застала. И Егор сбежал «на фронт». Комендант мать вызывает, грозит посадить, мол, сама направила в побег. Дня через три под конвоем комендантским привозят Егоршу, дальше Колпашева не удалось добраться. На пристани калымил грузчиком, на дорогу деньгу зарабатывал. Тут и взяли беглеца. Пастухом на лето поставили. Подпаском мать уговорила Андрея взять.

Зимой Егору препоручили ездового быка и на вывозку лыжного кряжа бросили. Лошадей на фронт забрали, остались клячи водовозные, на них только копны на покосе возить да потихоньку зимой сено на ферму артельную доставлять. Вывозка березовых кряжей — работа тяжелая, на быков легла да на плечи 14-15-летних мальчишек и девчат, Попробуйте вагой погрузить на подсанки кубовое березовое бревно, в снегу по пояс, а потом заставить быка вытянуть эту тяжесть на дорогу, Быки были каждый с «характером». Ляжет — ничем не поднимешь его. У каждого возчика на такой случай своя метода была. Один скипидару бутылочку с собой берет, мазнет под хвост — и бык соскакивает. Другой берестинку поджигает — и тоже под хвост. Третий на дрын берет, лупит беднягу, пока не надоест быку. А Танька Мыскова своего к «искусству» приучила. Ляжет ее Буян и хитро поглядывает: мол, хоть железом жги — не встану. Она перед ним начинает плясать да песни петь веселые. Посмотрит он концерт, встанет и мирно тянет воз все 15 километров.

Однажды и тут Егорша отчудил номер. Пospорили с дружкой Кирькой Верилковым, чей бык сильнее. Развели по разные стороны жердевой городьбы, хвостами связали и понукнули. Вроде, и напрячься не успели, как у Егоркиного быка хвост под репицу оторвался. Руководство артели Егора отстранило от этой работы, да еще штраф 200 рублей вырешили, месячный заработок «улыбнулся». На лесоповал направили. Там пилоправ требовался, и Егорша вскоре мастерски овладел этой профессией.

Приходит лето — и снова Егор плетет длиннющий пастуший бич. Когда Андрея «трясет» малярия (а трясет она через два дня на третий), мать собирает в поле нас. Обуваем лапти, чаще — босиком, рано утром гоним стадо за деревню, на Кетскую пойму. Носимся с хворостиной за норовистыми коровами, так набегаешься к обеду, что ноги подкашиваются. И радуешься, когда, наконец, коровы начинают ложиться на отдых. Едим печеную картошку из костра, валяемся на траве. Но блаженство отравляют комары, их серые полчища не дают ни минуты роздыху. Шея, волосы, руки черны от дегтярной сетки, а они впиваются сквозь рубаху, штаники. В июле добавляются слепни, пауты, мошкара до кровавой коросты грызет,

Уж начал про Егорку рассказ, то доведу до конца. Бросала его жизнь во все тяжкие, да сломить не смогла. Однажды осенью потерялась корова, не вернулась со стадом. Дали Егору с Андреем по коню, в ночь искать отправили. Сутки, двое проходят — нет братьев. Сами потерялись. Конец сентября на дворе, ночью подмораживает, долго ли протянешь без теплой одежды? Мать извелась уж вся. Через неделю чуть жив заявляется Андрюха, коня в поводу ведет. Кстати, останки той коровы случайно нашли люди, медведь ее скараулил. Андрюха малость отошел от пережитого, рассказывать начал.

— В первую ночь, пока у костра мы спали, конь Егора исчез. Теперь и его искать надо. Решили мы разойтись в разные стороны, сами мы тоже заблудились. Я питался ягодами да грибами, ладно, что спички у нас у каждого были. К реке вышел когда, то по течению и брел, пока не дошел до деревни. Думал, что Егор давно дома.

Через месяц мать «отревела» по Егорке, а еще через месяц, уже в ноябре, в морозы, его на лошади привозят. Фуфайчонка — одни ремки, весь в струпьях — обморожен, ноги сплошным синяком, тоже обморожены. Отпавляли, откармливали, Фома Сергеевич около хлопотал. Недолго валялся, похромал на работу — ноги не зажили до конца. В шахтерских калошах по тайге утопал он, блуждая, куда-то в Верх-Кеть, оттуда потихоньку, от деревни до деревни, пешком добирался. Под самым Новоселовым попутные дровни подобрали.

И токарил, и станки для цеха делал, и лыжи, до самого конца войны вкалывал, на любой работе дело у него ладилось. Вот только с комендатурой у него отношения не клеились. Захотелось мир повидать — поехал, до Алма-Аты добрался на крышах вагонных. Там изловили — в шахту завербовали. Три дня в подземном «аду» вытерпел — «рванул концы», домой приехал прямо в шахтерской робе. Спасло, что 18 не было на тот час.

В любви не везло ему, это точно. Свою деревенскую полюбил — родне ее не понравился «нацией». В победное лето каким-то ветром занесло в артель десантницу Анну. Форма на ней была военная, медаль на гимнастерке да лицом красива. Маленькая дочурка при ней — «трофей» фронтовой любви. Покорила Егорку на танцах, а на следующий день он ее домой привел. «Вот моя жена». Еще теснее стало в нашей халупе. Помню, все приданое ее составлял парашют, не знаю, как она его в личную собственность получила. И началось «обшивание» молодых: из светло-зеленого шелка вышло целое богатство: и одеяло с подушкой, и платье, и сорочки, и рубашка Егору, и трусы на всех нас. Такой огромный парашют, по хозяйственным меркам. Потом они переехали в Колпашево,

там в землянке жили, а там на Сахалин. Она старше Егора была лет на семь, детей так и не появилось больше. Пробовал он еще раз жениться — не повезло, бурно разошлись.

Пригласил я брата в Средний Васюган, ему там понравилось. У нас в детдоме работала техничкой одинокая мама двух детей. Она из ссыльных латышей, рано сиротой осталась, рано потом овдовела. Работящая женщина была. С первого взгляда они с Егором сошлись — полюбились друг другу. Обзавелись крепким хозяйством, к ее сыну с дочкой добавилось еще двое сыновей. Всех вырастили, на ноги поставили. Особо гордится мать, Галина Николаевна, сынами Егоровыми — Виктором и Николаем. Оба «на золото» кончили среднюю школу на Васюгане, оба защитили «красный диплом» по окончании Томского политехнического, оба работают на атомных электростанциях. Только отец их, брат мой Егор, не дожил до этих дней. На кладбище Среднего Васюгана покоится прах его. Сыновьями продолжится его род фамильный. Это главный след на земле.

О самом старшем брате, Борисе, не могу столь пространно рассказать. Мало привелось прожить с ним под одной крышей, лихая година войны оторвала его от родительского дома в 17 лет. После Новоселовской школы-семилетки пошел он в ученики к братьям Юговым. Были эти братья известны в округе тем, что при доме своем завели гармонную мастерскую. Борис бредил музыкой, мечтал о своем баяне. Мы, помню, завороженно наблюдали, как Борис по вечерам дома выпиливает лобзиком узорную вязь планок, копит стекло, чтобы изготовить черный лак, полирует планки и корпус гармони, клеит меха. Но весь его труд Юговы вкладывали в «продажу», откладывая мечту Бориса в долгий ящик.

Перед войной стали появляться в Новоселове поляки, эстонцы. Приходил симпатичный молодой Казимир, друг Бориса. Как он играл на гитаре! Николай по фамилии Деньга, тоже из новых ссыльных, заходил Якоб Гембух. Артель осваивала производство лыж, финская война подтолкнула к такой необходимости. Лыжи сразу начали делать не спортивные, а военного образца. Открылись курсы мастеров лыжного дела, и Бориса с друзьями направили на эти курсы. Недолго поработали выпускники курсов вместе. «Забрали в трудармию» — так, откликнулась война для многих молодых мужчин и парней из числа ссыльных. Без объявления сроков их ждала гулаговская система подневольного труда, зона, окруженная колючей проволокой. Патриотический порыв, по сталинским меркам, не должен был проявляться вне рамок неволи.

В школе у нас уже через месяц войны открылся лагерь допризывной подготовки бойцов. На открытие прибыл из Колпашева духовой оркестр. Было воскресенье, вся деревня собралась на призывные звуки маршей. Состав первых «лагерников» был уже набран, в их числе был и Борис. Вот они построились, командуют ими военные. Нестройно проходят колонны перед оркестром, в строю совсем еще мальчишки и солидные мужики, успевшие пожениться. Топают старательно, под строгие окрики командиров. Следом толпа пацанят вышагивает — добровольцы! И мы с Петькой пристраиваемся.

Потом курсанты за озером наруют окопы, закрыв на пастбище доступ коровам. Там ежедневно будет идти пальба, даже взрывы гранат мы увидим. А едва уйдут они с

полигона, вездесущие пацаны весь тот луг прошарят в поисках трофея. Так у нас с Петькой появится «секретное оружие» — семь боевых винтовочных патронов и запал от гранаты. Патроны мы сожжем в костре, удивившись негромкому «выстрелу», а запал через пару лет рванет в русской печке у Зулиных: мы зайдем к другу Шурке толпой, завернем запал в газету и проверим его действие. Он долго не поддавался огню, потом грохнуло до звона в ушах. И к ужасу Шурки из печи вывалится несколько кирпичей.

Вообще для нас, мальчишек, понятие о войне было окутано ореолом романтики. Мы строгаи деревянные наганы, сабли, винтовки, мастерили «стреляющие» поджиги, в игровых баталиях делились на «красных» и «Гансов». И это разделение для нас с Петькой кончалось обычно конфликтом до кулаков: пацаны не брали нас в «красные», мол, вы-то настоящие гансы. Это приучило не бояться драк с «численно превосходящим противником».

А Бориса на фронт не взяли. Несмотря на несовершеннолетие, его «забрали» в трудармию. Сразу после курса допризывников. Мать плакала, провожая его. Рухнула ее надежда, что подросток кормилец-помощник. Снова ей предстояло «рвать жилы» одной на ораву, как называла нас скопом.

Школа начала работать с октября. Наконец-то и я буду учеником! Немного боязно. Мы уже познакомились летом с моей учительницей — Натальей Петровной. Была она «злой старухой», как отзывался Степка Потешкин, отсидевший в первом классе четыре года. Пацаны его прозвали «Степка-балбес». Видимо, Наталья Петровна насолила ему, не давая спуска его выходкам. Мать тоже припугивала: «Погоди, попадешь к Наталье Петровне, она тебя к порядку приучит». И когда «старуха» шла по дворам «записывать в школу», я, при виде ее во дворе у нас, шмыгнул на чердак. Однако тут же услышал: - Не прячься, вылезай. Ишь, трусишка!» Вот глазастая, и впрямь «насквозь видит».

К школе мать смастерила мне новые шлеры. Надо сказать, что к тому времени мы уже вдрызг доносили остатки отцовской обуви, ничего из обнвы купить не могли. И в домашнем обиходе, а потом — и в рабочем, пользовались шлерами — деревянной обувью, дошедшей до нас из голландского средневековья. Представляли собой шлеры толстую подошву по размеру ноги, вырезанную из доски. Спереди прибит носок из кожи или брезента. И готов шлер. Подобие тапочек для дома. Идешь, подошва — шлеп да шлеп. Побежишь — растеряешь. Поэтому придумывали задок из холста с веревочками. Обвяжешь вокруг ноги — не сваливаются. Чулки из льняной ткани, тоже новые, мать связала. Брюки из холстины, луковой шелухой крашены. Весь в обновах!

И вот первый урок начался. Наталья Петровна не дает волю лишним разговорам, сразу начинает задание давать: на доске палочки в наклон пишет, объясняет, что и как. Пока она показывала, я уже три строчки накатал этих палочек. "Теперь берите карандаш и одну строчку палочек напишите в тетрадах», — говорит Наталья Петровна. Я сижу, от страха окаменел: ведь не одну, а три строчки сделал! Увидела, конечно, подходит и на весь класс позорит: «Это что за тунеядец у нас? Почему не пишешь?» Аж слеза выступила, с дрожью в голосе говорю:

— Я уже три строчки написал... Посмотрела, и строго так опять:

— Так ты писать имеешь? И читать?

— Умею, — говорю с опаской. — Вдруг что не так?

Тут надо сказать, что в этот год в начальные классы мало набралось учеников («не до рождения матерям было», — объяснила мать недобор ребятешек 31-33 годов рождения). Вот и учились у одной учительницы 1-3-й классы, у другой 2-4-й.

— Нечего лодырничать, — говорит Наталья Петровна. — Садись сюда, пиши упражнение.

В третий класс пересадила, дала учебник грамматики. «Выполняй это упражнение». Там надо было в нужном падеже поставить в предложения слова. Я уже всю ту грамматику с Андрюхой дома переписал. Чего тут трудного? Сделал. Она посмотрела, красным карандашом крупно так подписала «отлично». Потом на чтении вызвала прочитать отрывок из «Бежина луга». Старался я, с выражением чтоб. Так и пошла учеба. С удовольствием, круглым отличником, кончил третий класс. Мать не хвалила, а просто говорила: «Так и должно быть».

Обещала Наталья Петровна матери два лишних года на мою учебу сохранить. В конце учебного года она оформила мне табель за третий класс, а директриса Зоя Петровна, когда мы к ней «утвердить» зашли, при мне ей выговор сделала: «Ты что, хочешь показать, что дети немцев способнее русских? Не учитываешь текущий момент, себя под удар подставляешь. И мужа твоего вспомнят».

Я знал тогда, что у Натальи Петровны муж тоже враг народа. Хотя сама она хорошая, ничего не скажешь. Ругливая, конечно, когда за дело. Вон Степку-балбеса прямо домой сама привела, при родителях ему взбучку устроила за курение и матерщину. Дескать, такой балбес весь класс ей испортить может. Степку отец выдрал, а ему хоть бы хны. Зато в трудную минуту не пройдет мимо, не отвернется от твоей беды. Однажды «приспичило» мне по дороге из школы. На улице мороз. Завернул чуток за угол магазина, а пальцы свело, рукавичек-то нет. Пуговица здоровенная, не могу штаны расстегнуть. Вот-вот потечет, как домой пойду? От обиды такой и взрослый заревет. И я реву, пуговицу дергаю. А она мимо шла, услышала. «Не плачь, это мы сейчас мигом». Расстегнула пуговицу и совсем как мама говорит: «Писай, не бойся. Это ведь со всяким случиться может». Да потом еще и руки мне отогрела. Свои рукавицы дала до дому дойти.

И еще случай был. Добежал я километр до школы в шлерах своих, ноги приморозил. У школьной печки стал отогревать — заломило их больно так, что зареветь пришлось. Наталья Петровна услышала, давай оттирать снегом, на уроке шалью своей укутала. И говорит: «Сегодня вместе пойдем, ты меня подожди». Привела к себе домой, чаем напоила, даже с вареньем. Потом валенки подшитые достает из кладовки, «Это мужнины. Велики маленько тебе, но зато теплее деревяшек». И еще лыжи маленькие с палками подарила. «Это тебе личный подарок за хорошую учебу». С ней внучка жила, в одном классе мы учились, так дружить стали. А дома мать на меня: «Где ты взял валенки?» Узнала — пошла к Наталье Петровне, яичек понесла. А та не взяла. «Повезло тебе на учительницу, человек она такой, что дай вам Бог у нее доброму учиться».

Валенки эти лет пять служили, не раз подшивали мы их заново, заплаты накладывали. И носили их с Петькой по очереди, особенно когда на горку покататься ходили.

В первом классе нас принимали в октябрята. Строго тогда пионеры к этому факту относились, им доверяли новую смену ленинцев растить. Вопросы «на засыпку» задавали. Наталья Петровна переживала «за своих».

— Если тебя про отца спросят, так ты отвечай, что отец нам всем Сталин, а дедушка — Ленин, — посоветовала она мне.

И точно, кто-то из пионеров задал такой вопрос. Я, как Наталья Петровна научила, отчеканил:

— Наш отец Сталин, а дедушка — Ленин.

Директриса первая в ладоши захлопала, пионеры по ее примеру тоже. И приняли меня единогласно. Еще и насчет бога сказали, что теперь надо против него бороться, раз октябренок. Я пришел домой сияющий, с порога - мамке заявил: «Бога больше нету». Она меня с перепугу в угол поставила, потом заплакала: «Ну вот, еще за одного безбожника с меня на том свете спросится. Господи, да чем я прогневила тебя?» И выпустила меня из угла. Я ей говорю: «Ты-то тут причем? Не тебя же в октябрята приняли».

Только с «бати-вождя» и мне проку мало вышло. В третьем классе объявили выставку на лучший рисунок. Я рисовать любил, в редколлегии школьной стенгазеты уже был тогда. Особенно получалось по клеточкам копировать портреты. Ну и срисовал с плакатных рисунков портреты «любимых родственников», как смеялись дома надо мной. Наталья Петровна похвалила, мол, похоже получилось, взяла рисунок, понесла директрисе. Тут и меня к директору зовут. Зоя Петровна строго так спрашивает: «Кто тебя научил рисовать наших вождей? Знаешь ли ты, что даже художникам не каждому такое право дано? Возьми и никому не показывай». Так вот получил я урок рисования «отца всех детей». А дома на моих рисунках Сталин и на самолете бомбил врага, и на танке с автоматом мчался в атаку, и впереди полка со знаменем...

Школу в Новоселове срубили «миром» в 32-м. К осени уже были готовы принять учеников две классные комнаты, и открылись для ребят двери начальных классов с осени. На следующий год школу достроили, она стала семилеткой. Среди первых учеников был мой старший брат Борис. Несколько лет назад мы близко познакомились с томским художником Поповым. И случайно выяснилось, что он и Борис были одноклассниками.

Школа была светлой, просторной по тем временам. В зале со сценой на переменах обязательно водили хоровод. Вообще не было сегодняшней бесцельной беготни ребят по коридорам, все пели, играли в «народные» хороводные игры. Заводилами выступали учителя, не отсиживавшие перерыв занятий в учительской. Уже в первый военный год ввели в распорядок торжественное построение в зале по классам, открывали линейку песней «Вставай, страна огромная» (Позже, с появлением нового гимна, начинали с его пения). Потом у огромной карты с флажочками, черными и красными, учитель (обычно историк) рассказывал о сообщениях Совинформбюро, передвигая флажки на карте на

соответствующие рубежи. Еще и еще раз нам внушалось, что каждая отличная оценка на уроке — это тоже удар по врагу.

И вот, где-то в марте или апреле 42-го, мы переезжаем в клуб. В школе будет госпиталь. Туда нас будут три последующих года пускать накануне праздников с шефским концертом. Там мы детскими душами прикоснемся к страшной изнанке войны.

А в клубе окунулись в тесноту, хоть и ввели двухсменные занятия. Наталья Петровна учит нас на сцене. Ее стол притиснут вплотную к доске. Нас от других классов отгораживает занавес. Другой занавес разделяет два класса в зале. Одним ухом слушаем Наталью Петровну, другим — историю Древнего мира, которую интересно объясняют в зале пятиклассникам. На перемене давка в узком коридоре. Дольше теперь горят коптилки на наших партах: на весь класс выдают всего одну лампу-семилинейку, которая стоит на учительском столе. Пузырек с керосином и фитильком, источник света, мы носим из дому. На сцене одно небольшое окошко, и зимой дневной свет пробивается к партам лишь к третьему уроку. С этими коптилками просто беда: чихнешь нечаянно — погасла. Учитель на такой случай спички носит с собой. Да еще проблема чернил возникла. Химические карандаши исчезли, чернильницы-непроливашки тоже. Намешаешь сажи с молоком, нальешь в пузырек, макнешь неосторожно — он бульк — прямо на тетрадь. Потом и тетрадей не стало, из газет старых сшивали. Напишешь — сам не разберешь. Учительница свекольным соком оценки ставит. Вместо перьев придумывали кто что. Кто петушиное перо приспособит, кто из жестянки смастерит. Нас выручал дед Дума Сидор Иванович. Он в кузнице выковывал почти заправдашние перышки, они не драли бумагу. Помню, на новогодней елке мне подарили, как отличнику, настоящую ручку с фабричным пером и тетрадь, без корочек, но как приятно писать по белому листу! Радовался этому подарку, как сейчас не радуются дети шоколадной конфете.

При школе была солидная площадь земли. В 30-е годы большое внимание уделяли трудовому воспитанию. Разбили сад, на огороде вели опытническую работу. Просторная площадка в сторону Кетского берега была отведена для спортивно-игровых занятий. Еще на берегу стояла конюшня, часть бревенчатого сарая занимал класс для трудового обучения. В годы войны труд «перекочевал» на поля колхоза, коней поубавилось. И один конец сарая превратили в столовую. Огород расширили, раскорчевали часть сада, царицей здесь стала картошка, да свекла с морковью. На большой перемене мы бежали в сарай, от большой печи со вмурованным котлом несло теплом и духом картошки «в мундирах». Ее заботливо растили старшекласники, убирали в школьный погреб.

Давно забыты времена, когда приносили из дому школьные завтраки. Скучный завтрак и дома был. Так что к большой перемене «кишка кишке давала по башке». И звонок срывал нас ветром с парт, мы мчались к тесовому длиннущему столу, где в глиняных мисках парил потрескавшимися боками главный «фрукт» военной поры. Иногда выдавали по ломтику хлеба, испеченного «из колосков». Весь сентябрь мы, младшекласники, проводили на полях, собирая колоски за жнищами. Их оставалось не столь и много после уборки серпом, но за день мы набирали мешок, а то и два зерна. Половину сдавали в фонд обороны, другую школе разрешили использовать на завтраки. К 7 ноября, в последний день первой четверти, устраивали «праздничный обед». И в новый



год, прямо с елки, вели ребят к столу, где единственным блюдом лежали огромные ржаные пироги с морковью. Главное — разрешалось есть «сколько влезет». Однажды, добравшись до горячего пирога на голодный желудок, я схлопотал такое расстройство желудка, что вышел конфуз по дороге домой. Ну, что тут вспоминать, бывает, и радость оборачивается бедой.

А дома все голоднее и беднее житуха. Злее стала мать. Приходят комсомольские «агитаторы», собирают вещи в фонд обороны. У нас взять просто нечего, но они перешаривают материн сундучок, находят последний полушалок — забирают. "Неужто солдаты оденутся в платок?" — спрашивает их мама. Увеличены натуральные налоги, теперь все молоко от Пеструхи уносим на приемный пункт, нам достается только обрат. Не хватает сданного, выращенного за год, телка, чтоб рассчитаться с налогом на мясо. Осенью увозят целую бричку картошки, ее ссыпают в подвал дома инвалидов. Там она сгнивает, и в марте мы, школьники, после уроков ходим туда выгребать гниль.

Самые грустные дни мы переживаем, когда проходит очередная подписка на военный заем, на лотерею или добровольное пожертвование средств на строительство то ли самолета, то ли танка. Берут обычно месячную зарплату, с матери требуют три оклада подписать. Попробуй спорить, если наваливаются дружно целой бригадой — уполномоченный из района, председатель сельсовета Малахов, комендант Воробьев, артельное начальство, партийно-комсомольский актив. Чуть что скажи о трудностях — матери в укор: «Расплодила фашистов, еще за них и плачешься. Тебе-то бы помалкивать. Однажды заупрямилась, мол, на месячную зарплату подпишусь, а больше не могу, иначе убивайте меня и детей заодно. Убивать не стали, а арестовали и заперли в пожарку. Октябрь был на дворе, холодно. Мы дома ждем мамку — нет и нет. Потом узнали про арест, понесли вареной картошки. На двери пожарки замок, мы в окне шипку вынули, передали ей узелок с вареной картошкой. Какой-то гнетущий страх поселился в ту ночь в нашей избе. Мы почти до утра рубили табак-самосад, так наказала мама при свидании в пожарке. Утром она пришла домой, наскоро собрала нас с Петькой, понесли мы сидоры с табаком на базар в Колпашево. Табак мать готовила крепчайший. Мужики прозвали наш табак — «смерть Гитлеру». Тут секрет не в том, чтобы вырастить табак, а замариновать его после уборки в куче, точно выбрать момент, когда он, нагреваясь, «созреет». Потом развешать на чердаке, а перед рубкой высушить на печке. Рубили сначала топором в корыте, но опять выручил Дума. Из ножовочных старых полотен смастерил он машинку: крошка «квадратиками», ну прямо фабричная махра. Нас на базаре уже приметили, за «смертью Гитлеру» выстраивалась очередь. И проблем с продажей не возникало. С выручки нам разрешалось «пообедать». Мы с Петькой обычно тут же покупали по блину из крахмала, по куску хлеба и по три конфетки на брата. По пути домой у окраины болота, где тек ручеек, мы усаживались и устраивали «царский обед», запивая водой из бурого холодного ручья. Такой вояж в город мы проделывали почти каждый выходной, пока не кончались запасы табака. И в тот раз выручки не хватило, чтобы рассчитаться с займом, пообещали вычсть следующую зарплату.

Выручало в заботах о «покрытии наготы» обычное наждачное полотно. Его много в столярке использовалось на шлифовку лыж. Мать, убирая вечером цех, использованную наждачку не бросала в печь, а несла домой. Тщательно отстирав абразивное покрытие,

серо-белую ткань, а представляла она собой разные по величине лоскуты, накладывала заплатами на штаны и фуфайки, шила из них куртки, рукавицы, даже голенища к шахтерским калошам. Некрасиво, зато прочно.

... Еще памятная мета военных лет. К нам, в Новоселово, привезли много немцев. Мы, пацаны, кинулись на улицу поглазеть — какие они? Думали, что уж эти точно «оттуда», из Германии, в плен их забрали. Но по улице едет вереница бричек, на возах — такая же оборванная ребятня, девки, старухи, Мужиков вообще нет. У некоторых дворов одна телега останавливается, люди с узелками мнутя на дороге, пока комендант «утрясает» вопрос насчет жилья. Вот и у нашей калитки остановились, другая бричка — напротив, возле Санниковых. К ним две семьи, в каждой — по два человека, мать и сын. В избе и без квартирантов невпроворот, куда их деть?

Селят по стайкам. Отрядили артельских дедов, подвезли кирпичей сложили печурку с плитой, железную трубу через оконце вывели. В нашей стайке пол земляной, от порога кинули одну плаху к печке, соломы подбросили. А Пеструшку в угол втиснули, наискось доской отгородили — стой тут, не рыпайся. Мать еле втискивалась, чтобы подоить зимой. Летом Пеструха на улице ночи коротала, в пригончике.

Соседями Пеструхи стали Фрида с ребенком грудным. Да одинокая старуха, седая, худющая, на бабу-Ягу смахивала. Мать ее сразу «раскусила» — колдунья, лишний раз на глаза ей старались не попадаться. А Фрида красивая была, дружелюбная, готовая матери помочь во всем. Мама ей после дойки отольет кружечку молока — она довольна. Фриду направили работать в лес. Целый день Костик под нашим надзором, руки-ноги повязал, что путы коню. На бабушку его Фрида боится оставить, она «не в своем уме маленько», говорит. Мы иногда к Мишке Санникову забегаем, заглядываем в их стайку, Там два Петьки, наши ровесники. Матери по-русски неважнецки говорят, а пацаны быстро язык наш освоили, в первый класс школы записали их. Помаленьку сдружились. И совсем эти немцы не страшные, за что только их выслали, ведь жили на русской реке Волге.

Вообще-то мы географию не по карте могли изучать, а по национальностям одноклассников своих. Первыми появились новички — эстонцы, латыши, литовцы, поляки. Вот немцы потом, а дальше узнавали западных украинцев-бендеровцев, чеченцев, ингушей, турок, крымских татар, ссыльных евреев. И ничего они страшного не делали, работали, жили, как местные, только еще труднее.

Осенью приезжие ссыльные нанимались почти задарма картошку копать, своих-то огородов не успели посадить. Потом перекапывали тщательно на второй и третий раз огороды, собирая даже гнилые картошины. Тоже ожидали конца войны, чтоб их мужики вернулись скорее домой. Отцов да мужей еще дома забрали в трудармию, а кого прямиком в лагеря и тюрьмы. Работающие они были, не то, что рязанские верующие. Их тоже однажды прислали толпу, поселили в артельный амбар (зерна уже не было надобности хранить, его все подчистую в госпоставки заметали). Так они целыми днями молились да пели до беспамятства песни божественные. Их не очень уважали новоселовцы.

А уж после войны появился ссыльный академик Боголюбов. Не знали мы его имени-отчества, звали просто «химик» в лучшем случае — академик, вроде, это слово должно звучать оскорбительно. Не приспособлен он был к такой жизни, старый, казалось, ко всему равнодушный. Костюм, фуфайка, валенки сплошь из одних пестрых заплат состояли. Бывало, идет по улице, мы толпой пацаньей за ним, дразнили хором — «химия, химия», а он ноль внимания. Мать узнала, что и мы с Петькой в этих «дразнилках» участвовали, дала нам ремня, внушая: «Вы бы слышали, как он мужикам о науке рассказывал в курилке. Его слушали — рты раскрывали, такой умнейший человек. Он наверняка с кем-нибудь из дураков ученых не сошелся, вот и сослали. Божий человек, а вы его мизинца не стоите, и еще дразнить осмелились». Словом, до стыда нас довела. Потом помаленьку стали его женщины подкармливать, вечером в пожарку, где он жил, потихоньку несли кто картошки, кто миску капусты.

Как-то на стрельбище, а стреляли мы на уроках военного дела часто, прямо на спортплощадке у школы, проходил Боголюбов по тропе вдоль берега Кети. В больницу шел. И вот Колька Шмаков вместо мишени выстрелил прямо в ногу академику, Учитель крикнул: «Не стрелять!», а Колька — щелк. Боголюбов упал. Николай Иванович, учитель, Кольке в ухо кулаком как заедет. Помогли мы академику до больницы добраться, нога в мякоти прострелена оказалась. Откуда жестокость такая взялась? Тогда Кольку винили мы, теперь понимаю, что не он в том виновен, нас такими делали, в каждом классе плакат висел: «Осторожно, враг не дремлет!» Огромное ухо врага нарисовано, мол, тебя подслушивают, будь начеку. А тут налицо живой враг, которого не за понюшку ведь табаку сослали из Москвы.

А с Боголюбовым история так закончилась. В 48-м, кажется, году приехало начальство из Колпашева, привезли академику костюм приличный, побрили, постригли, в баню сводили, на рессорной повозке повезли. Прямоком в Москву. Вспомнили об ученом где-то в столице, нужен стал.

...Самой страшной была зима 43—44-го. Лето 43-го выдалось жаркое, без дождей. Картошка едва поднялась — и засохла. Предвидя беду, мать ввела строгую норму добычи рыбы — ежедневно мы с Петькой обязаны наудить два ведра, две деревянные бадейки. Эта обязанность не была в тягость, разве что трудно было вставать в 4 часа утра. Но пробежишься босиком по росе, сядешь в обласок — и сон пропал. К заветному островку на Кривуне подъезжаем крадучись, не взбулькнуть, не вспугнуть бы. Удочка из льняной дратвины, крючок дед Дума скопал, из троса стального жилка проволоки. Даже зазубринку сделал. Про запас есть и леска из конского волоса, но ее бережем на случай «обрыва». Едва червяк утягивается на дно, как поплавок ведет наискось под воду. Тяжеленный окунь уже сидит на крючке. И начинается азартный лов. Но пригревает солнце, рыба идет помельче, комары уже до чесу наели. Одно ведро полно. Проводим палочкой по живой рыбной горке, свалившаяся рыба идет в другое ведро. Норма есть норма! Наконец, и второе ведро накидано до края. Пора купаться! Гребем на песчаный бережок — и отдаемся блаженству, пока не спохватываемся: вон как высоко солнце взобралось. А дома ждет картошка — норма по двадцать рядков окучить. Да сначала рыбу очистить, присолить и вчерашний улов на просушку разложить. Соли карточной не хватало, чтобы засол настоящий делать. Мы слегка присаливали рыбу, потом на солнце

выкладывали подвялить. А там в русской печке мать ее до хрустящего состояния доводила. После этого можно было ее в ларе хранить всю зиму. И жевать без всяких приготовлений, и в ступе толочь для оладий, затирухи, супа. Картошку жарили с рыбной мукой — не столь пресная получалась.

Чтоб нам с Петькой веселее было норму окучивать на огороде, делила мать огород на узкие рядки. Садили много картошки, только на нее надежда была. Соток десять на поле сажали. В тот год урожай плачевный удался, треть обычного накопили. И то мелочи. Мать сорок ведер в отдельную яму закопала — на семена, неприкосновенный запас. Сколько можно было, запасали ягод: черемухи, смородины, шиповника, брусники. Эта обязанность на нас с Петькой тоже легла. Андрей летом на пилораме устроился работать. Егор коров пас с утра до позднего вечера.

Иногда «по звездочке» собирали нас на прополку колхозного хлеба. Придем на поле, а там осот выше головы. Голыми руками тянешь колючую стволину, она упирается. Мошка жрет, пот глаза заливает, руки черной коростой покрылись, босые ноги цыпками изъязвило до крови. Одну поляну «прочешем», а на соседней осот еще выше. И реки нет рядом, чтобы усталость отдать воде.

В августе кедровые шишки созревают. Снова на промысел мы с Петькой собираемся. Небольшое решето в мешок, топорик, зубчатый рубель — шишки тереть, да картошки с солью, да котелок. Мешков берем штук пять. Километров шесть лесной дорогой, за три болота уйдешь — и начинается кедрч. Уходим подальше от дороги, до открытия срока шишкобоя еще несколько дней, надо не попасться на глаза объездчику Сереге. Человек он без сердца, плетью отхлещет пацанов, мешки отберет, штраф наложит. Взрослых-то побаивается, не зверствует. В укромном месте оборудуем стан — шалаш из хвойных лап от дождя, кострище безопасное.

Тактика у нас своя: до воскресного дня, когда откроется срок шишкобоя, мы в сторонке от стана, под кучей хвороста, готовим запас шишек. Лазаем по кедрам белками, отбиваем босые пятки о толстые сучья, если шишка идет туго. Кожа за лето на голых подошвах ног задубела так, что не берет ее ни стерня на поле, ни таежная сухомянь древесная. Кедровые шишки удались на славу. С иной кедровки и два мешка сваливается шишек. Натыкаемся на свежий медвежий след — успокаиваем себя: он сытый, зря не тронет.

Страшно ночью. Погода ясная, спим под открытым небом. Костер сдвинут на другое место, пепелище застилаем пихтой, укрываемся мешками. Снизу пропаривает бока, сверху пробирает холодом, знай поворачивайся. Сон не идет, разговариваем про медведей, про слышанные рассказы об их повадках. Под утро усталость одолевает страхи, мертвецки спим, пока солнце не размежит глаза. Днем встретились с охотниками, они настораживали западню на медведя. Из толстенных бревен сделали сруб, одна стена открыта. Сверху тяжелое бревно насторожено так, что если за тухлятину на веревке потянуть, то оно упадет на «вора». А в следующую ночь мы не спали. Пока говорили о медведях, вдруг услышали страшный рев. До утра кочегарили костер. Потом днем уже, возле западни увидели тех охотников. Они весело, подшучивая, обдирали медведя. Нас поразило, насколько этот зверь без шкуры похож на человека. В следующую ночь мы были спокойны: медведя поблизости теперь не будет.

В воскресенье мы на дороге встречали мамку. Она приехала на Пеструхе, запряженной в двухколесный тарантас. С ней в лесу мы чувствовали себя будто дома, никаких страхов. Терли шишки, отсевали орех. Полную тарантайку вечером Пеструха увозила домой. А мы еще остались промышлять. Что такое голод, нам не надо было доказывать, объяснять. Но к весне он пришел, безжалостный. В марте кончилась в подполье картошка. Теперь ежедневно появлялись одиночками и толпой побирушки, шли от дома к дому, редко где могли их одарить картофелиной. Мы с кружкой молока шли по соседям, собирая очистки в обмен на молоко. Дома их мыли в трех водах, варили синий суп, круто подсаливая, чтоб не так он горек был. На сковороде жарили с рыбной мукой. Но начались болезни, к малярии добавилась цинга. До сих пор мороз по коже, как вспомнишь ту весну. Слабость в теле, обмороки. Переешь кожур — рвота мучит. Утром во рту гнойная слюна, зубы шатаются, любой можно без труда вытащить пальцами. На уроке вдруг перестаешь слышать учителя.

Однажды, уже в мае, мать вернулась с работы, черная лицом, пошатывало ее заметно. А тут мы занудили свое обычное: «Мам, ись!» В тот момент возьми и подвернись ей под ноги наш кот — большой, на мышах отъевшийся. Схватила она его за шиворот, у порога топор стоял, им мамка и отхватила коту на пороге голову. Потом шкуру сняла, мелко разрубила тушку. Картофельную шелуху с мясом начала жарить. Мы и не помнили мясного вкуса, ходим, аромат вдыхаем, не можем дождаться, когда поджарка на столе окажется. Уплели мигом сковороду, а мать в сторонке сидит, не притронулась. Мы ей: «Попробуй, мам, вкуснятина!» Она в слезы. Вечером слышим в молитве своей просит бога простить за то, что ожесточилась сердцем, руку на животное подняла, что не смогла вынести ниспосланное ей испытание голодом детей. А что бог в этом понимает? Его нет, и потому насчет жратвы он не может ничего смыслить.

А там и «пасть» вышли, почки сосновые ели, цинга прошла, свежая рыба клевать начала. Выжили! Но сколько сосланных немцев и прочих не выжили в ту зиму! Кладбище разрослось множеством новых крестов. И бабка в нашей стайке тихонько ушла на тот свет. Сделали гробину в столярке и ей, вытащили из стайки и, уложив дряхлое тело, увезли. Ни слез, ни гореваний, никого из родни рядом. Фрида куда-то в лесной поселок уехала со своим Костей. И снова Пеструха в стайке королева.

И дня победы дождались. Мы в школу перебрались из клубной тесноты. Новый орден дали коменданту Воробьеву и председателю сельсовета Малахову. Первый они получали до войны, за перевыполнение плана по борьбе с врагами народа. Малахов аж орден Красного Знамени за то получил, говорили, что второй план в 37-38 годах по арестам врагов одолели. Только житуха не стала лучше, долго еще с колен поднимали артель и колхоз в Новоселове.

Андрей в ту весну школу-семилетку кончил. Ему бы дальше учиться, в Тогуре средняя школа Новоселовских выпускников принимала. Но комендант запретил: мол, твое дело — работать. Направили его на лесоповал. Подвела его неопытность и слабость, ударило в спину падающим бревном, оказался в больнице. Откуда вышел нетрудоспособным, зато прямым тут же поступил в восьмой класс. Год он проучился там, но надо было платить

за учебу, да и кормиться нечем было. Так Андрей вынужден был поступить в Колпашевское педучилище, где хоть малость вырчала стипендия в 140 рублей.

Он заканчивал училище, я — Новоселовскую школу. При школе была комсомольская организация, куда входили молодые учителя и старшеклассники, в основном выпускники школы, считалось особой честью выйти из школы комсомольцем, о чем наша классная руководительница Александра Алексеевна Лашкевич очень заботилась. Ведь она была в то время секретарем школьной парторганизации, состоявшей из трех учителей. И возглавляла школьную комсу. Меня, отличника, она тоже уговорила вступить в комсомол, хотя мать не советовала, дескать, не примут. Я не поверил, подал заявление. Рекомендацию дала лично Александра Алексеевна. Приняли без проблем и на школьном комсомольском собрании, был я на счету активистов. И вот на тарантасе (по сему случаю дали школьную кобылу) мы с ней едем в Колпашево, на бюро райкома, где должны меня утвердить. Апрель расквасил дорогу, иззубрил ее «хребтинами» мерзлого снега под покровами конского навоза. На душе весело, я буду равный со всеми, сын за отца не ответчик — в этом меня убеждала и Александра Алексеевна. За дверями секретарского кабинета шло заседание. Мы ждем, когда пригласят. Наконец, позвали, входим. Меня выпроваживают за дверь, оставив Александру Алексеевну. Слышим разговор на высоких тонах. Мою учительницу ругает секретарь, как девчонку

— Вы бы еще гитлерюгенда сюда притащили, в комсомол принимать, - орет мужской голос. — Вы что, совсем потеряли бдительность?

Александра Алексеевна буквально выскакивает в коридор, прикладывая платок к глазам

— Поехали домой, здесь правды нет, — говорит она сквозь слезы. Мне ее жалко, пробую успокоить, мол, не приняли — я не очень рвался. Она меня успокаивает, мол бюрократы засели в комсомоле, не век будет на их улице праздник. Дорога домой показалась долгой и печальной. Больше я не затевал разговоров о вступлении в комсомол, хотя впоследствии он вошел в мою жизнь.

А мы в школе жили по своим правилам, не всегда понимая правила, которым подчинялись взрослые. В артели то и дело снимали одних председателей, привозили, а то и своих назначали, «новеньких». Нам, пацанам, более запомнился Илья Евдокимович Будюк. Веселый, добродушный толстяк, с казацкими, как у Тараса Бульбы, усами, когда других забирали «под арест», его чудом оставили, но «соцпроисхождение» вспомнили — и сняли. Он артельное дело начинал и на ноги ставил в нетронутой тайге, от пня, как говорили артельщики. Потом Иван Степанович Зулин был, но умер от тяжелой «лямки». Его сменил Иван Батаев, мужик грамотный. Но рядом колхоз «Полярная звезда» на ладан стал дышать — его туда перебросили. Тут вернулся из трудармии с покалеченной рукой Андрей Семенец, его поставили, но недолго продержался — «загрели» отец с сестрой, его задвинули в рядовые. Мелькнули Котов, Баранцев, Головин, Зырянов, Евсеев, Анисимов. Из них Головин памятно «ушел». Фронтовик, без одной руки, он редко трезвым бывал. Под «мухой» любил покуражиться. Однажды мать нашу до слез довел. Она ему пожаловалась, что детей кормить совсем нечем, хоть малость бы муки выписать, а он ей: "На фронте я немцев привык пулями кормить». Вскоре поехал он на пролетке в Колпашево, деньги на зарплату получать в банке. Вернулся к ночи пешком, с похмела.

Коменданту сообщил, что дорогой его ограбили бандиты, описал, как они на него нападали. Вызвали бригаду милиции из города, по его следам пошли. Нашли, где он последнюю бутылку пил, в лесу валялась нетронутая сумка с деньгами. А лошадь, пока он на траве спал, ушла прямушкой домой, да зацепилась вожжами за корягу и стояла среди дремучего леса. Долго потом мужики смеялись «над бандитами», которые председателя «одолели». Сняли его, конечно.

В школе тоже новый директор, настоящий, мужчина занял вечно женский этот пост. Звали его Евгений Михайлович. Огромного роста, не успел, еще обзавестись гражданским костюмом, при гимнастерке и брюках-галифе ходил. Была о нем для мальчишек притягательность даже в наколках. Не только на руках, наша «разведка» знала точно, что и под костюмом скрывались весьма «смелые» сюжеты. И делали вывод: «Евгений Михайлович поведал не только фронт»... Некоторые мальчишки были свидетелями его участия в семейных застольях, где он мог выпить литр водки, не уронив достоинства. Ничуть и это не умаляло его авторитета.

Вот и выпускной вечер мы готовимся отметить. Последние экзамены идут. Директор доверил полностью организацию вечера «нашему усмотрению». Одной бабушке, слывшей мастерицей по части варения браги, мы заказали «два ведра», вскладчину собираем овощи, кто муки принес, кто яиц. Брагу варили тогда не из сахара, а из муки и овощей. Пригласили лучшего баяниста — слепого инвалида войны Бусова, отца нашей соклассницы Файки.

Наступил этот день. Нас никого не оставили на второй год, настроение отличное. Перед торжественной линейкой девчонки накрывают столы, приглашено около сорока человек из начальственного актива, но родителей мы решили не звать (актив приглашал лично директор). Нас, мужчин, в этой суете девчонки держат на подхвате — принести, унести, помыть, начистить. Идем за брагой. На палках несем пьяное зелье, в довесок к которому Евгений Михайлович выделил двухлитровый графин «учебного» спирта. По дороге за сельповской базой делаем привал в лопухах, разбавляем брагу всем запасом спирта и через край пробуем «ерша» из ведер. Я был слабоват физически, и потому на линейке меня уже покачивало после пробы этой.

Вызвал директор меня первым, чтобы вручить свидетельство и похвальную грамоту «круглого отличника». Седьмую по счету за годы учебы такую я получал. С портретами Ленина и Сталина. Выхожу из строя — чувствую, как ведет меня в сторону. Евгений Михайлович все давно понял, но виду не подал, положил руку на плечо, поздравляет. А на ухо шепчет: «Что, сукины сыны, пробу сняли? Хороша получилась?»

Вместо рюмок на столе — консервные банки, только на «начальственном» конце граненые стаканы. После первого тоста нам больше не наливают, этого хватило через край. Танцы идут, пляски, неумеющих девчонки учат на ходу. Мы с Галькой потихоньку «сбегаем» на берег Кети, под одинокую сосну. И там впервые в жизни мы робко поцеловались — и бегом назад. Домой под утро вернулись, меня тошнить начало, а мамка веником-голиком наподдавала. Это чтоб запомнил, что пьяная радость все равно, что гадость. А мы ведь взрослых скопировали, они даже в самые трудные годы в праздники собирались за артельным застольем и в пьяном похмелье веселились. Правда,

моим сверстникам в тот период не угрожало спиться раньше срока, на то ни денег, ни мыслей не было. Думали, как с голоду не протянуть ноги.

И опять лето, полное работы. Мы с Петькой вкалываем на болиндере. От пилорамы вниз, нырнув концом в воду, вытянулась эстакада с роликами-катками. На озере два мужика баграми раскатывают плот, пуская бревна в «свободное плавание». На площадке рядом с болиндером мы чокером (это тросик с крюком и петлей) ловим бревно на удавку, крюк цепляешь за кольцо троса, который неторопливо движется через барабан поверх роликов. Пока цепляешь следующее бревно, подходит очередное кольцо. Идут и идут бревна, наверху двое таких же пацанов отцепляют их, откатывают на поперечную эстакаду. Когда запас для работы пилорамы на день сделан, бежим в сушилку, надо матери помочь лыжи гнуть, шаблоны-гибалы таскать.

За два месяца удастся при всем старании заработать на штаны и брезентовые туфли. Придется и студентом носить в слякоть шахтерские галоши. И залатанную фуфайку.

Меня без экзаменов приняли в педучилище. Андрей только окончил его, уже уехал работать в Рыбинск, это в Верх-Кетском районе. И тут комендатура не упустила случая. Вызвал комендант мать.

— Ты куда спровадила сына?

— Это не я, государство его выучило и на работу направило.

— Почему без нашего разрешения уехал? Мы его привлечем к ответственности по закону. Хотите, чтоб на свободе он был, так поезжайте в Рыбинск, доставьте его сюда. А мы уж посмотрим, где ему работать, учителем или на лесоповале. Пошла мать в Колпашево, правду искать. Вернулась со справкой, что Андрею разрешено переехать в Верх-Кетский район «по месту работы согласно направлению Томского облоно».

Учусь я в Колпашево, место в общежитии дали. На первую стипендию выкроил двадцать рублей, новую рубашку купил. Про свой день рождения забыл, да и не привычно было его отмечать, до того ли в нищете? Новоселовский комендант напомнил, прислал повестку — явиться точно в день моего 16-летия. При себе фотографию иметь, 6х4,5 см. Завуч наш, Николай Петрович, инвалид войны, нога на протезе, вручил мне ту повестку и удивился: «Ты что натворить успел? Комендант по пустякам не вызывает». Объяснил ему, что день рожденья отметить за компанию приглашает, заодно на учет поставить, чтоб из училища не сбежал.

И вот я впервые становлюсь «клиентом» НКВД. В маленькой прихожей, к удивлению моему, протолкнуться негде. Одни пришли какую-то справку хлопотать, другие — «отмечаться», такую обязанность — давать раз в месяц, строго в указанный день, расписку о том, что ты знаком с правилами НКВД насчет содержания тебя на спецучете, — надо было не только выполнять «добровольно», но и каждый раз выстоять в очереди. Это было одним из самых изощренных издевательств над достоинством человека, попавшего в сети комендатуры по ей лишь известной «провинности» — национальной принадлежности, наследованию звания врага народа, спецпереселения и т.д. В толпе ожидающих в кабинет, где за столом царственно восседал комендант, увидел я инвалида



слепого, с черным обожженным лицом. Это бывший танкист, От опеки НКВД его не спасают медали за боевые подвиги на фронте, тут главное — родился он крымским татаринном. Другой стоит в очереди на костылях, тоже участник войны, без ноги. По виду — из кавказских народностей,

Надо сказать, что дом инвалидов войны, сменивший в Новоселове детдом, просуществовал по 49-й год. Кто-то отсюда уехал, найдя родственников, других, иногда и самых тяжелых калек, разобрали по домам в мужья местные вдовы войны. Сказалась неиссякаемая добросердечность сибирской женщины, да и обезмужиченность деревни повлияла. И не могли простить инвалиды комендантам, прочим тыловым «служителям» в военной форме их «процветание» за спиной проливших кровь фронтовиков. На этой почве часто вспыхивали «бои местного значения», В драках инвалидов с офицерами тыловыми (их было немало у нас в Новоселове, ведь в школе летом продолжал действовать и после войны лагерь подготовки бойцов), шли в ход копыя, стальные трости. Однажды атаку инвалидов на лагерь «отбивали» даже автоматной очередью. Но особую ненависть питали инвалиды к тем, кто служил в «Смерше» и комендатуре во время войны.

И в этот раз я стал очевидцем драмы, разыгравшейся в кабинете. Вошел с костылями инвалид, в открытую дверь было слышно и видно, как возникла перепалка. Комендант вынул из стола пистолет, чтобы пригрозить горячему посетителю, но тут же костыль ударил его по руке, пистолет отлетел на пол. Инвалид схватил оружие, в припадке ярости заорал на коменданта:

— Лезь под стол, а то застрелю! Меня фрицы не могли напугать, тебя тем более не испугаюсь! Лезь пол стол, лай по-собачьи! У меня не дрогнет рука пристрелить тебя, собаку!

Комендант юркнул под стол и оттуда пару раз гавкнул. Инвалид кинул пистолет ему и сказал:

— Вот теперь пусть все знают, что ты сука трусливая. Больше этого инвалида в Новоселове не видели.

Когда подошла моя очередь, комендант все еще ворчал, угрожая «буяну» смертными карами. Заполнил на меня учетный лист, внеся всю мою родословную и соцпроисхождение, дал собственноручно заполнить «обязательство», по которому я, немец, сын врага народа, обязывался проживать только в назначенном комендатурой населенном пункте, а в случае побега из данного пункта, готов получить 25 лет каторги. Интересным показалось мне предупреждение, что побегом считаться отныне будет отлучка в радиусе 6 км без разрешения коменданта. Почему шесть, а не круглое число километров? Тут же мне было дано разрешение на перевод в комендатуру г. Колпашева. И там я отстоял очередь, чтобы привязали «комендатурскую гирю к ноге». Живя от родного дома в 15 километрах, отныне я не имел права навестить мать в выходной день без письменного разрешения. Вот где я понял, почему мама после визита к коменданту возвращалась домой, поникшая духом. Здесь вся обстановка ставила «врага» на положенное ему место.

Правда, всерьез угрозы не воспринимал я поначалу. Несколько раз ходил за разрешением сбежать домой, но это здание НКВД, двухэтажное, с тюрьмой на задах, с оградой под «колючкой» было от педучилища далековато. Пока сходишь да очередь отстоишь, уже и дома был бы. И перестал я бегать за разрешением.

Сработала тогда психология вора: один раз не попался — в другой раз идешь смелее. Дошло до того, что и на «расписку» ежемесячную стал иногда забывать в свой срок явиться. Комендант Мурзин раз предупредил, другой, наконец, пригрозил пять суток отсидки дать. Тут узнал, что не один я такой «враг» в педучилище, и Вайсман, мой тезка, детдомовец недавний, тоже на учете и тоже тайком от друзей в НКВД расписывается. Легче на душе стало. Однако после уроков в субботу по-прежнему я «сбегал» в Новоселово.

Но на втором курсе, после окончания первого семестра, перед экзаменами было три свободных дня на подготовку. Ясно, что ушел я домой, съездил на Пеструхе за сеном, за дровами в лес. Петька один за мужика в доме остался, хоть уже и семиклассник, но пацан еще совсем. Накануне экзамена вернулся в Колпашево.

Сдавали математику устно. Первым беру билет, минут десять на листке пишу решение задачи, доказательство теоремы. Готов был уже отвечать, как директорская секретарша вызывает к «самому». Директором был Крупнов Борис Александрович, такой солидный, участник войны. Иду, ожидая какого-либо поручения.

— Ты почему нарушаешь режим НКВД? — огорошил он меня «в лоб». — Я тебя исключаю из училища. Иди в комендатуру, там тебя должны арестовать. Оглушенный, я дал волю чувствам и не помню уже, что наговорил в истерике. Но что обвинил в трусости ветерана войны — это точно. И хлопнул дверью.

Очередь к Мурзину оказалась не большой, всего около часа я выстоял, какими долгими казались минуты ожидания судьбы перед той дверью! Комендант встретил сурово, не глядя в глаза сказал:

— Почему совершил побег?

— Если вы считаете побегом то, что я навестил мать и помог ей, тогда арестовывайте. Но дай Бог Вам испытать такую же вину, если имеете живую мать на свете. Только дайте сначала экзамен сдать до конца.

— Да ты не горячись. Что сдаете-то?

— Математику устно. Я успел только подготовиться к ответу, как вызвали.

— Ну, и как она тебе дается?

— Как по всем другим предметам, сдаю на пятерку.

— А мне она никак не поддается, я ведь тоже в педучилище учусь, заочник. Не торопишься?

Гляжу, запирает на ключ дверь изнутри, идет к столу и достает учебник по геометрии (стереометрию). И часа четыре я ему «вдалбливаю» теоремы. Ухожу, «вооруженный» разрешением на постоянное посещение Новоселова. В вестибюле педучилища встречает на черной доске объявлений приказ Крупнова о моем исключении все за то же «нарушение режима НКВД». Заглянул в класс, где заканчивала сдачу экзамена вторая смена, Вера Петровна успокоила: «Иди к директору. Я тебе уже поставила пятерку, у тебя на листке все верно было».

Борис Александрович весьма удивился моему появлению и спросил: «Тебя что, отпустили?».

— Там тоже люди сидят, — ответил я. — Понимают, что нельзя ни за что ни про что садить и исключать...

— Ну ладно, ладно, заменю на строгий выговор. Ты тоже хорош, наговорил тут мне...

Вскоре, когда уходил я в общежитие, на доске висел приказ о выговоре, опять с той же формулировкой. На следующий день за «попранную честь» вступился комитет комсомольской организации училища. И выговор был снят, так и не вступив в силу. Зато на меня «даванули» в классе комсомольцы, потребовав «отчитаться в своих политических взглядах», ибо учитель «немыслим вне рядов ВЛКСМ». Вот здесь-то, взвинченным тоном, я вынужден был признаться, что скрывал от товарищей свое «вражеское происхождение». И вторая попытка «встать в первые ряды бойцов» кончилась благополучно. Сокурсники меня понимали, редко, кто не носил за душой свое «проклятое» соцпроисхождение.

Счастливые это времечко — студенческие годы. Молодость легко перемалывает налетающие нелепости жизни и трудности, живя днем завтрашним, ожиданием счастья. Голодно было, да кто рядом сытостью пробавлялся? Возьмешь огромную черную булку ржаного хлеба, уж и карточки забытыми остались: отрежешь ломоть толстенный, крупной солью посыплешь и под холодную водицу досыта наешься. А если к тому из дому картошки принесешь ведро, да капусты, то и вообще сытная житуха. На эти проблемы ум не отвлекался, нас загружала под завязку сама творческая атмосфера, созданная педколлективом училища на высоком уровне. Настоящими профессионалами были преподаватели музыки, рисования, пения, спорта и физкультуры. После уроков бежишь на репетиции хора, оркестра народных инструментов, балетного кружка, на очередные соревнования на лыжне или беговых дорожках стадиона. Недаром выпускники Колпашевского педучилища тех лет становились отличными учителями, директорами школ, имея широкий профессиональный кругозор.

Об этих годах если и рассказывать, то отдельной книгой. Рамки моего повествования ограничиваются лишь попыткой показать систему подавления человека в человеке, вопреки которой прорастали в людях моего поколения ростки доброго, неистребимого семени, заложенные в генных запасниках человечества. Хотя урон и этому наследию система НКВД — сподручная сталинского геноцида нанесла немалый.

... Город торжественно хоронит «преданного чекиста» Воробьева. Нас отпустили с последнего урока на его «проводы». Впереди огромного шествия несут десятки венков, на бархатных подушечках — ордена, медали. Отдельно на вытянутых руках, офицер «при параде» являет миру личную саблю Воробьева, коей рубал он врагов Советской власти еще в гражданскую. Над могилой звучат речи «товарищей по оружию», лотом — залпы из винтовок, на сей раз оружие палит не в людей. Сколько заслуг на его счету! Но многие в толпе знают «заслуги» Воробьева. С малого детства знаю о нем и я. Пьяница, насильник юных невольниц, безжалостный к немощным, оставил он мрачные следы своего комендантства во многих селах Нарымского края. «Отметился» он и в Новоселове, со своим помощником — наглым грабителем Сергеевым обездолил, отправил в застенки ГУЛАГа, в расстрельные ямы сотни невинных. Это он мою мать запер под арест в пожарке, он угрожал «уничтожить немецкое племя», то есть, нас, детей, у которых он же отнял отца. Знали мы цену его орденам и медалям, знали все его «подвиги». И сегодня в книге «Боль людская» на четыре тома разместились лишь фамилии убитых такими Воробьевыми. «Сдох, наконец, как собака», - услышал я тогда шепотом сказанное людьми над его могилой. Замерз пьяный под забором очередного черного рейда «по тылам».

А системе нужны были новые жертвы. И вот нас собирают на митинг. Арестован после «умелого раскрытия организации» злостный враг в облике врача Колпашевского тубдиспансера Кац Павел Андреевич. Обвинен в том, что получал посылки из США и от евреев других стран, в которых под видом лекарств присылали микробов разных болезней. «Врач-заразитель», ему только смерть! Да еще нашли в потайном месте передатчик, значит — шпион иностранной разведки. Еще раз — смерть! И мы орем это слово, не зная, какую фальшивку подсунули на сей раз «доблестные чекисты». Дальше были только слухи. Что Кац повесился в тюрьме, например.

Приехав на работу по окончании училища в Средне-Васюганский детдом, я к удивлению своему узнал, что тот самый врач Кац работает сапожником в том самом детдоме. И вся история из его уст выглядела совсем иначе. Да, получали посылки с лекарствами, которых у нас тогда не было, и помогали эти лекарства многих туберкулезников излечить, вернуть к жизни. Но началось «ленинградское дело врачей-отравителей», надо было и Нарымскому окружному НКВД внести свою лепту. Вот он и повод. Кто будет докапываться до анализа полученных лекарств? А радиоприемник, батарейный, марки «Родина», неисправный стоял в шкафу. Назвали передатчиком, так улика звучит! Спросили эксперта — можно ли из этого приемника передатчик сделать? — он ответил: да, если капитально переделать всю схему. В протокол вносят: эксперт утверждает — это передатчик. И в тюрьме допрашивали ночами, вымучивая добровольное признание, предлагали: «Лучше сам покончи с собой», подбрасывали веревку в камеру. А он, упрямец, не повесился. Дело настолько было шито белыми нитками, что не решились под суд «загнать», сослали в административном порядке в Васюган, место глухое, правда не вдруг вылезет наружу. Но расстреляли Берию. Потом, в том же году, 53-м, уехал из детдома Павел Андреевич Кац, стал врачом Томского Штамовского института. Смеялся завхоз детдома Афанасий Евсеевич Трущенко: «У меня

свой кадр в знаменитой лечебнице, в Штамовское ездю лечиться, у сапожника, который дело знает и в медицине».

Год назад об этом деле врача вспомнил в Колпашеве бывший опер МГБ Юрий Алексеевич Левицкий. Правда, он хорошо рассказывал о том, что было до него, а за шесть лет личной службы — «какой смысл вспоминать?»

...Последний курс, последние месяцы студенчества. Самый ответственный экзамен на профессию учителя — месячная практика. Мы с другом Николаем Каварзиным направлены в малокомплектную начальную школу Жигаловского рейда. Небольшой поселок сплавщиков, на той стороне от Новоселова, при слиянии Старой и Новой Кети, спрятался в лесу. Длинный барак в центре поселка, в одном флигеле контора, в другом — такая же комната, отдана школе. Несколько комнат вдоль коридора, где расположен заезжий двор, квартира молодой учительницы. Она одна управляет с четырьмя классами. Ребятишек едва ли два десятка наберется, но попробуйте сразу, в одном классе, по четырем разным программам их обучить грамоте! Поначалу мы робели, хоть и разделили по два класса на каждого и вели уроки «на два голоса». И сразу начали готовить концерт для мам к 8 Марта. Привезли мы с собой домру-приму, бас, нашли в поселке балалайку, гитара была у учительницы. Этим и подкупили ребятишек, а еще больше — родителей. Такого не бывало, чтоб на подобных рейдах дети выступали с концертом. Мамы шили по нашим заказам концертные костюмы, начальник сплавучастка и секретарь парторганизации интересовались каждым продвижением к успеху.

Но тут умер Сталин. Всенародный траур, спущенный «сверху», должен был длиться неделю. Праздничный концерт «уходил псу под хвост», а перенести нельзя — 10 марта кончался срок нашей практики. Правда, потихоньку, как посоветовали партсекретарь и начальник участка, решили собрать родителей на вечер в школе 9 числа, без особого афиширования. И концерт удался, старались наши ребятки от всей души. Набралось столько народу, что и в коридоре было не протолкнуться.

На следующий день конной кошевой приехал завуч училища, руководитель практики Николай Петрович Жванский. Хороший это был человек демократичный, веселый, гармонист. Поскрипел протезом по бараку, в конторе с начальством сплавучастка поговорили о нас, принял от учительницы письменный отзыв о практике, пообедали, даже по сотке он налил, с собой бутылку привез — «практику отметить надо, с нее начинается учитель». А дорогой домой вдруг спрашивает: «Не боитесь, что гэбисты тоже интересуются будущими кадрами и могут подмарать ваш успех?» Словом, нагнал малость страху. Но сам же он и утешил: «Ничего, бог не выдаст, свинья не съест».

Но когда в актовом зале собрали нас, выпускников, на торжество по поводу отчетов о практике, в президиуме оказался представитель ГБ (НКВД тогда уже переименовали в МГБ). Молчал тот председатель до тех пор, пока мы с Каварзиным не отчитались. Вопрос нам задает: «Вы знали, что траур объявлен был на целую неделю?»

— Так мы бы не были педагогами никогда, если бы смогли разочаровать родителей, а главное — отнять у детей пробудившуюся тягу к творчеству, — так примерно мы пробовали объясниться.

— Предлагаю поставить двойку обоим. Но, учитывая, что у Каварзина отец погиб на фронте, снизить ему до четверки. — И все, сел на место представитель. Он буквально продиктовал всему педколлективу училища свои оценки. Решил, что против не будет никто, однако инвалид войны Жванский был «крепким орешком», отверг подобный подход и настоял на четверке и мне.

... От службы в армии нам отсрочки не было положено. Хотя «мужиков» в педучилище единицы. И призывной возраст в основном приходился как раз на выпускников: кончил — иди сначала отслужи. Но «переростков» брали и с третьего, и со второго курса. Тогда мы были патриотами в душе, считали службу долгом личной чести. Этот нынче легко обходится молодцам «отвильнуть» от призыва.

Весной 52-го, когда я заканчивал третий курс, пришла и мне повестка. Прошел комиссию, как-никак, спортом занимался в меру способностей. Никаких претензий от врачей не услышал. Других ребят взяли, меня оставили. У военкома допытываюсь — почему отставка? Отвечает, что «бычье сердце» обнаружили. Не знал я даже, что такая болезнь существует. Так и пошло. Каждый год призывали, уже воспитателем Средне-Васюганского детдома. Райцентр был в Новом Васюгане, ездил туда на комиссию (368-й км) на лошадке дважды, на почтовом катере плавал. Все кончалось отставкой. В 56-м, когда мне уже 23 года стукнуло и когда «хрущевская оттепель» прошла, оказался я по всем статьям пригоден. А у нас, с нынешней моей супругой Анной, уже и день свадьбы был назначен. Представляете настроение? Ладно, нас трое в Среднем Васюгане таких набралось, перестарков — молодой директор школы Владимир Дурас, латыш «подкомендатурный», математик Николай Гусаров да я, завуч детдома.

Положенные три дня «гулянки» дали нам, поохотились мы удачно с Владимиром, на «дичинке» устроили совместные проводы, ждем самолет в аэропорту, с рюкзаком наготове, с сухарями, кружкой, ложкой. Дураса жена Зина провожает, успел он пожениться, меня невеста «оплакивает». Самолет показался на подлете, когда почтальонша на велосипеде прибыла к посадке и мне телеграмму военкома вручает; «Отправку Варкентина отставить». Проводил я дружков, сам за свадебные заботы принялся. Так и не довелось выполнить священный долг по защите Родины. Хотел, да не доверили. А в последний призыв осечку директор детдома, оказывается, организовал: мол, в кои веки педагога с дипломом в детдом прислали, да еще мужчину, и того в армию берут. Отхлопотал в райкоме партии.

Вообще-то, ко времени приезда на работу у меня уже выработалось невосприятие «близко к душе» комендантского надзора. Сам здешний комендант был из местных «мужиков», с ним запросто можно было в дороге попутной или при встрече на его «рабочем месте» распить «по случаю» бутылку водки, поговорить обо всех международных событиях (откровенничать, однако, насчет взглядов на репрессии я с ним опасался). Сам малограмотный, он, Иван Иванович Ярославцев, любил послушать знающего человека, порассуждать о деревенском житье-бытье. С шуткой распишешься, что «не сбежал» — и болтай, сколько времени есть. Но от инструкции и он не мог отойти ни на йоту. (Хотя помню, в пьяном виде, когда вместе добирались мы на почтовом катере в райцентр, устроили с ним соревнование по стрельбе из его табельного пистолета по

бутылке. И он дал мне, поднадзорному своему, пальнуть пару раз. Протрезвев наутро, сожалел об этой «слабости», просил никому не говорить). Мы с ним и по сей день изредка переписываемся, со слепым почти стариком.

Но никак не мог я понять тогда, как это может сочетаться политическое недоверие ко мне и одновременно доверие мне воспитывать в «советском духе» 160 детей-сирот? Ярославцев тоже не мог ответить на этот мой вопрос. Особенно запало в душу одно маленькое событие в моей педагогической работе той поры. Исполнилось 16 лет Маше Абраевой, круглой сироте, крымской татарке. Отец ее погиб на фронте, мать умерла при ссылке на Васюгане. И никаких исключений! Маше точно в день рождения пришла повестка явиться в комендатуру, к Ярославцеву. Мы как раз готовились к именинному обеду. Маша билась в истерике, кричала: «Я не враг народа! За что меня?..» И директор детдома Андрей Васильевич, и я пробовали уговорить Ярославцева поставить на учет «потихоньку», не будоражить воспитанников, это могло на корню подорвать все наше «патриотическое воспитание». Комендант на сей раз был неумолим. Тогда я Маше прямо сказал, что тоже «на учете» и готов вместе пойти «расписаться», что это пустая формальность. И сходили мы с ней, но потом она потребовала, чтобы ее «исключили из пионеров». Плевков ребенку в душу легко не забудешь. А правда на словах вкупе с кривдой в поступках, в окружающей его действительности калечит хуже всякого изуверства. Это уж я знаю. Взрослый легче «подгонит» свое мировоспитание под коллизии окружающей жизни.

Вера в то, что правда после разоблачения сталинского культа личности восторжествует навсегда, привела меня в ряды компартии. По мере сил и возможностей я старался эту правду отстаивать. Но с приходом брежневских времен в жизни вновь установилась «двойная мораль» культа.

Помнится, был я в санатории Одессы, то ли в 75-м, то ли годом позже. По телевизору смотрели отдыхающие завершение очередного съезда КПСС. И генсек Брежнев сам, в третьем лице объявил об избрании его вновь на высокую должность. Один из зрителей, инвалид войны, в сердцах матюгнулся и сказал: «Культ личности во всей красе готов! Добром это не кончится!»

Не кончилось, для «культовой системы» всего устройства правления при «единой руководящей силе». «Ум, честь и совесть эпохи», под лучами правды, явленной нам, обернулись бесстыдством партийных правителей. Вот почему перестройка в стране, идущая вкривь и вкось до сих пор, тормозимая всеми старыми силами аппарата КПСС, однако вызвала сначала массовый уход из партии ее прозревших членов. Прозрением считаю и новое осмысление своего пребывания в рядах КПСС в прошлом. Тайное всегда становится впоследствии явным, раскрывая глаза обманутому.

На этом и хотелось бы в воспоминаниях поставить точку.

Это первый в моей жизни опыт написания более крупного повествования. Как удался он — судить читателям. Пока дописывался конец воспоминаний, печатать их начала Чаинская газета, по «кусочкам», с разрывами во времени что, конечно, затрудняет

восприятие. Потом эти «кусочки» стали перепечатывать газеты Молчановского и Колпашевского районов. За что благодарен автор их редакциям.

Но первые публикации вызвали отклики моих знакомых. Один из них так сказал: «Ведь это прямо про мою судьбу в молодости написано». Так, наверное, могут сказать тысячи сибиряков, да и не только жители этой провинции России. Иначе не стоило бы и бумагу зря марать, если бы рассказ был об исключительных судьбах.

Сейчас идет очередная революция. Легко такие повороты в многонациональном и многомиллионном обществе не даются. Дай Бог, обойтись без крови бы. Ведь кризисное время, раздрай в стране, и даже в семье, словно лакмусовая бумажка, выявляет «примеси» безнравственности в окружающих людях. Мы за свою «социалистическую» эпоху прививали безнравственность, и весьма успешно, с малых лет. Вылезает она сегодня бурной пеной в распрах политиков, в оценках окружающих бедствий. Одни наводят панику — голод кругом, нищета и вшивость! Другие деловито берутся делать трудный, а кто и легкий, бизнес. И до крови безнравственность все же довела в иных окраинах России.

Но даже в ГУЛАГе не все опускались, чему яркий пример — А. Солженицын. Есть люди, способные реформировать мирным порядком нашу экономику. Чем больше сплотится общество вокруг них, тем быстрее переживем «межвременье» упадка. С голоду умерших пока — редкий случай, в тысячи раз больше гибнет от пьянства, поножовщины, аварий, от нерадивости нашей. Не потрясение оружием побеждало кризисы в других государствах, а труд работающих рук и сметливых умов людских.

Хорошо мы никогда не жили, а что такое истинный голод — старые люди помнят хорошо. Объединимся на мирном доверии реформаторам-профессионалам, приложим руки к делу — веселее и быстрее выйдем на путь богатой цивилизации. И преступность легче повязать дружным усердием, а не размахиванием дубиной. Под дубину уголовники больше приспособлены нагнеть.

Одно условие поможет обязательно: нельзя забыть опыт прожитого времени. Все, что доброго в нашем опыте есть — не выбросить за борт, но все, что в мире лучшего накоплено, что толкнуло нас перестроить порядок жизненного уклада в своем общем доме — то надо брать смело, коли начали. Поворота назад не будет. Если тормозами «поэкспериментировать» захочется правителям — дорога только в пропасть идет.

Так я думаю. В этом убедить пытался на примере прожитого моими сверстниками. И их отцами.